

А.А.АЛТАЕВ

Ласынны АКАДЕМИИ

ДЕТГИЗ · 1961



Цена 49 коп.

А.А.АЛТАЕВ

Пасынки АКАДЕМИИ

Исторический
роман

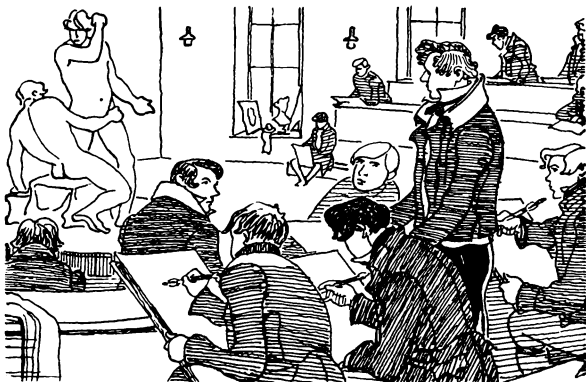


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва 1961

Ал. Алтаев — псевдоним одной из старейших советских писательниц Маргариты Владимировны Ямшиковой-Алтаевой (1872—1959). Свою долгую творческую жизнь она посвятила главным образом созданию исторических романов, повестей. Для детей ею были написаны «Под знаменем Башмака», «Когда разрушаются дворцы», «Декабрята» и др. Большой популярностью пользуются ее книги биографий людей искусства: «Впереди веков» — о Леонардо да Винчи, Рафаэле, Микеланджело; «Чайковский», «Глинка». Последние годы Маргарита Владимировна работала над мемуарами. Книга «Памятные встречи» рассказывает об интересных людях ее времени, о знакомствах, встречах.

В исторической повести «Пасынки академии» богато, с большим колоритом представлены эпоха первой четверти XIX века и судьбы людей — учеников знаменитой уже в то время русской Академии художеств.

Дочь писательницы Людмила Андреевна Ямшикова-Дмитриева, пишущая под псевдонимом Арт. Феличе, принимала участие в создании отдельных сцен «Пасынков академии».



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

1

В СТАРОЙ АКАДЕМИИ



есть часов вечера 1816 года.

Зимняя вьюга бросает горсти белой крупы в окна второго этажа Академии трех знатнейших художеств, что в Петербурге, на набережной Васильевского острова. По громадному натурному классу академии тоже ходит ветер. На деревянном станке два обнаженных натурщика около часа уже стынут в напряженных позах борющихся гладиаторов. Тишину нарушает лишь вой вьюги в трубе да потрескивание дров в прожорливой печи. Холод почти не уменьшается, а до звонка еще далеко.

Мерзнут и руки учеников, внимательно вглядывающихся в античную группу «натуры».

Один только учитель, художник Дмитрий Миронович Ушаков, мирно дремлет на стуле, возле печной дверцы, в своем вечном кирпичного цвета сюртуке. В кулаке у него зажата копеечная сайка. Это самый старый из

учителей академии, искусный когда-то исторический живописец, не сумевший пробить себе дорогу и быстро забытый. Бедность — постоянная его подруга. В академии ему, вероятно, все же теплее и уютнее, чем в убогой квартире в Гавани. Иначе он не приходил бы сюда в четыре утра, еще до подъема учеников, не слушал бы воркотню швейцара, нехотя снимавшего с него потертую плиссовую шубу.

В зимнее время ученики рисуют при огне. Но металлические подставки с рядами ламп тускло освещают натурщиков. Пламя коптит, распространяя удушливый чад. Не помогает и широкая железная труба, проведенная прямо на крышу. От нее только несет лишней стужей.

Наконец учитель зашевелился, с трудом открыл глаза и сделал знак. «Гладиаторы» разом вскочили и начали бегать по станку, распрямляя затекшие спины и хлопая себя по бокам. Сдвинулись скамейки, зашуршали листы бумаги, загудели голоса.

Ушаков мелкими шажками прохаживается между рядами учеников:

— Нотбек, возьми стирочку, — и, протягивая мякиш своей сайки, приговаривает: — Разве мне жалко? Смотри тут: следок-то опять не вышел. Зачем так повернул его? А тебе, Брюлло, стирать ничего не надо. Сам все давно уразумел и поправил. Не ленишься, Карлуша, что говоришь! По два-дцать раз перерисовываешь, милый. Профессора не нахвалятся!..

Карл удовлетворенно потягивается и щурит утомленные глаза.

Ученики старательно подправляют рисунки. Даже второй Брюлло, брат Карла, прилежный Александр, не без греха.

Перерыв быстро кончается.

— Продолжаем! — садится на свое облюбованное место Ушаков. — Ну-ка, братцы, на станок! Да позу, позу, голубчики, не забывайте. Вот и не так лежал, ай-ай-ай! Подожди, я поправлю. Нуте-с, продолжаем...

Опять холод, копоть, мертвая тишина и мучительное напряжение мускулов «натур».

Но вот в дверях появляется дежурный со звонком. Дребезжащий, пронзительный звук возвещает окончание урока. На станке — радостное оживление.

Ушаков машет руками:

— Пойдите! Пойдите!.. Всего четверть часика, милые! Ведь немного не доделали! Не поленитесь — еще минуточку, голубчики!..

Натурщики покорно принимают прежние позы.

Когда наконец в этот день их отпускают, они, торопливо одевшись, уходят к себе в подвал, на казенную квартиру.

Снова шелест бумаг, хлопанье папок, шум отодвигаемых скамеек, возгласы, смех, чиханье простуженных. Сложив рисунки, ученики начинают очищаться от копоти, сморкаться, отплевываться, а потом гурьбой идут к умывальнику.

Кряхтя и вздыхая, Ушаков расстается с обжитым уголком и одиноко селенит в вестибюль.

Надев шубу, он опасливо скользит в полумраке по обледенелым ступеням лестницы. Руки ловят за что бы ухватиться, но стены и колонны «выхода

сплошь покрыты инеем. Дверь здесь почти никогда не закрывается. И навесный с подъезда снег часто скидывают лопатами прямо на подъезжающий воз.

Оттирая помороженные руки, швейцар ворчливо бросает:

— Собачья жизнь!.. — И топит злобу в насмешке: — А вам, сударь, покрывашку бы новую на шубу давно сделать надобно. Вата вон торчит — одна срамота! Я, пожалуй, и портного бы по сходной цене указал.

— Эх, милый! — шепчет безнадежно Ушаков и скрывается в снежной вьюге.

Одновременно с Ушаковым уходят учителя и остальных классов, а также «посторонние» ученики, живущие вне стен академии. Их сразу можно отличить по одежде: на одном — потрепанная городская бекеша, на другом — бесформенная кацавейка, а вот и просто деревенский полушубок.

«Казенные» выстраиваются парами, чтобы идти в столовую ужинать. Их более двухсот. Они похожи на оборванцев в форме: малолетние — в синих куртках и синих штанах, с пуговицами, обтянутыми сукном; на старших — короткие мундиры того же цвета и белые чулки; на башмаках — пряжки; медные пуговицы с давно стершимися лирами. На куртках, штанах и мундирах нередко плохо пригнанные заплаты. От нездоровых условий жизни многие из подростков и юношей страдают базедовой болезнью и иными хроническими недомоганиями.

В коридоре, куда высыпали ученики всех классов, — теснота. Дежурит сторож Анисим. Его высокая, тощая фигура грозно возвышается над ними. Анисима боятся и маленькие и большие. У него тяжелая рука, а бить в академии не возбраняется даже сторожам, если «сие способствует воспитанию», по мнению некоторых из начальства.

Кто-то среди младших уже ревет, получив от Анисима увесистую затрепину.

Но появляется сановитый старик в мундире с золотым шитьем на воротнике. На бритом лице его — мягкая улыбка. Глаза смотрят внимательно и ласково. Ученики любят этого восьмидесятилетнего человека, инспектора академии Головачевского.

Двое из старших вспыхивают радостным смущением и перешептываются. Они еще не забыли, как несколько лет назад ездили вместе с третьим мальчиком на квартиру к любимому воспитателю. Там их рисовал возле Головачевского знаменитый Венецианов. Групповой портрет получился очень удачным, и все трое учеников считали себя счастливейшими избранныками судьбы.

Неторопливым, торжественным шагом инспектор проходит мимо построившихся рядов. Анисим разом сгибается и, сутулясь, прячется за воспитанников.

Взгляды младших учеников снова настораживаются, когда к ним приближается преподаватель первоначальной грамоты Шишмарев. В парике, всегда с красным лицом и большой бородавкой на носу, он славится коварным нравом. Держа руки за спиной, грамматик нередко прячет палку и

пребольно ударяет провинившегося. Воспитанники не столько слушают его наставления, сколько следят за движением его рук.

Ученики делают учителей по-своему: на злых и плохих, на строгих, но хороших и на совсем хороших. Таких все же немало в академии: профессора Иванов, Егоров, Шебуев, Щедрин, Угрюмов, скульптор Мартос... Хороших, хоть и строгих, ученики боятся и уважают, понимая, что получают от них серьезные знания. И благодаря им русская Академия трех знатнейших художеств прославлена по всей Европе.

Строг и требователен учитель русской словесности, молчаливый, сухой Предтеченский. Смешной с виду, в высокой стоячей фуражке и странном сером пальто, похожем на женский капот, он не внушает, правда, особой симпатии. Но его ценят не только высшее начальство, но и сами учащиеся.

«Этот никогда не подведет!» — говорят они между собой.

«Не допустит, чтобы кто-нибудь пришел на экзамен слабо подготовленным...»

Совет академии выносит ему постоянно благодарность.

Зато других они ненавидят.

Низкорослый немец Голландо, с выпученными глазами, известен среди воспитанников звонкими оплеухами и приговорами к розгам.

Учитель русского языка Тверской леноват. Он небрежно следит за ответами учеников, напевая что-то себе под нос, но рука его покрепче слабой руки Голландо.

Ненавидят и помощника инспектора Жукова.

Так рассуждали главным образом «маленькие». У старших имелись собственные страхи, обиды, огорчения. Несколько раз в году они должны были представлять свои работы на конкурс. Многим нелегко доставались «первые номера», дававшие право на медали. И никому не хотелось попадать в отстающие.

В столовой чинный порядок расстраивался. Изголодавшиеся ученики бросались к столам.

Служитель вносил котел с кашей-размазней и растопленное масло.

Воспитанники жадно тянулись к горшку. Каждый норовил зачерпнуть побольше масла. Многие наловчились поддевать его двойную порцию, слепив из хлебного мякиша на деревянной ложке второе дно.

Ужин проходит быстро. Все шумно поднимаются. И отчетливый голос дежурного ученика начинает благодарственную молитву.

— Пойдемте вместе, — сговариваются младшие.

В длинном темном коридоре едва светит одинокая тусклая лампа. Мальчики с опаской жмутся к стенке, пробираясь в уборную.

Ради потехи старшие часто подстерегают их. Сейчас маленькие рады были бы даже страшному Анисиму. Они топчутся на месте, не решаясь миновать опасного поворота.

Испуганный шепот:

— Смотри, смотри!..

На заплесневелой стене появляется чья-то тень. По всему видно — их уже ждут. Мальчики с ужасом вспоминают, что в лазарете лежит старший воспитанник Горский. Его в драке ударил «шабером» — граверным инструментом — ученик Глинский. Глинского, правда, исключили из академии и назначили церковное покаяние, но Горский-то все же, говорят, умирает...

Мальши пробуют быстрее проскочить мимо. Но за одной тенью вырастает другая, третья, — пробежать не удастся. Крик, давка, плач...

К счастью, показывается спасительный Анисим и наводит порядок тоже «по-своему».

Вечерами в спальне у «маленьких» шепот:

— Васька, а Васька, спишь?

— Да, уснешь тут! Скоро рождество, а я сижу в проклятой академии. Мне не к кому идти в отпуск. Я сирота.

И глубокий вздох.

— Васька, а Васька!

— Ну чего?

— А я думаю: кабы моя воля, пошел бы я мальчиком в булочную. Там плюшек сдобных, хоть лопни, ешь. Вчерась я видел булочников, по набережной шли. Сами белые, ровно пшеничные.

— А я бы лучше пошел в галантерейщики. Галантерейщик всегда при галстук и при часах. Голова намажена лимонной помадой. От самого — дух! Ух ты! А вечером в саду зефирничает. Сапоги блестят и со скрипом. Все на него заглядываются. Шуба теплая... А тут сидишь, мерзнешь над голым Аполлоном, черт бы его взял! Учитель смотрит и смеется: «Что это ты, говорит, на-ва-ра-кал, не пойму никак?»

— Не-е, в булочники лучше, сытнее!.. До смерти надоело рисовать эти «глазки» да «кисточки».

Сонный голос снова передразнил учителя:

— «Ты, шельмец, не достоин пальца микеланджеловского раба рисовать, не то что руку али ногу. Ведь ты медвежьей лапу рисуешь. А здесь — благо-род-ство!..»

Еще один уныло вмешивается:

— Что толку рисовать да рисовать? Сиди двенадцать — пятнадцать лет в академии, а и выйдешь в рисовальные учителя. Одна конфузия!.. Ходи, как наш Ушаков, в бабьем рваном салопе.

— Да что там — «двенадцать — пятнадцать»? Иордан — не нам чета, способный, а остался из-за роста на три лишних года. Мал, вишь, ты! Уж он и картон под пятку подкладывал, и на носки вставал — куда там! Мал ростом — и шабаш! Подожди, значит, еще. Впору задавиться!

— А другие любят рисовать, право слово! И что они в этом самом рисовании хорошего находят?! Удивительно!

— Вот, например, тот же Карлуша Брюлло. Тот не удивится.

— «В нем много «гения и огня» — говорят и учителя и профессора.

С дальней койки сердито раздается:

— Спать мешаете, балаболки! Лучше встаньте завтра пораньше да поищите пуговиц и гвоздиков. Тверской вчера что-то хмурился и все носом хмыкал.

— Мы с Васькой и то гвоздиков набрали, хватит с него.

Голоса затихают, начинается чей-то сонный присвист, неясное бормотание, чуть слышные стоны.

Васьки, Петьки и Степки, случайно попавшие в академию, по прихоти нечутких, власть имущих людей, некоторое время еще мечтают о сытной карьере булочника и «блестящей» — галантерейщика. Обдумывают, как бы получше ублажить мрачного Тверского. Они открыли его слабое место — манию собирать коллекции пуговиц и гвоздей. Вот преподнесут ему завтра фунтик старых гвоздей, собранных где попало, да пуговиц, стащенных в академической пошивочной. Учитель будет расхаживать по классу, заложив руки за спину. А потом с довольным видом станет напевать, не замечая ошибок в ответах нерадивых учеников.

2

«ПОСТОРОННИЙ»

«Посторонние» ученики по окончании классов уходили домой. Их связывали с академией одни лишь уроки рисования. Они поступали достаточно взрослыми и не проходили курса общих наук, как «малыши». Между ними были люди разного звания. Случалось, хоть редко, в академию попадали даже состоятельные и из знатных фамилий, как, например, граф Федор Петрович Толстой. Лет десять назад в высшем кругу он наделал много шума тем, что «обесчестил» свой род и все дворянское сословие, променяв «благородную карьеру» на академию.

Но большинство, из бедняков, ютилось на чердаках, в подвалах, мансардах. Постоянно голодавшие, они прирабатывали где попало и чем попало, нередко исполняя у крупных художников роль слуг, лишь бы только учиться любимому искусству. Немало было и крепостных, которых помещики отпускали в академию на выучку, чтобы иметь у себя «изрядного» живописца, скульптора или архитектора.

Сергей Поляков, крепостной господ Благово, выйдя из натурального класса, торопливо оделся и пошел домой, на квартиру к молодому еще преподавателю «малышей», Якову Андреевичу Васильеву. Он жил у него в здании академии с 4-й линии. Сергеем не приходилось, подобно многим из его товарищей тоже крепостного состояния, исполнять роль слуги. За свое содержание он аккуратно платил хозяину. Тот был бескорыстен и брал мало. А зарабатывал Сергей портретами «на стороне». И одевался, когда ходил в гости или театр, с некоторым даже щегольством.

Поляков был взволнован. В академии шли ежемесячные экзамены, и завтра он узнает судьбу своего последнего этюда. Он привык к удачам. И Васильев, понимающий толк в живописи, твердо верит в его будущность. У Якова Андреевича есть грудной сынишка Егорушка. Любящий отец не раз говаривал о мечте вырастить ребенка, похожим на Сергея. Он хотел, чтобы сын стал художником: «Таким же одаренным, как Сергей». От этой дружеской похвалы у Полякова радостно билось сердце. И ведь правда, уже теперь у него, ученика, нет отбоя от заказов. Зарабатывает он хорошо и, как равный, принят в знатных домах столицы.

Сергей открыл дверь собственным ключом.

Ужин Якова Андреевича не похож на ужин в академии — здесь по-семейному уютно. За общим столом Сергея ждет отдельный прибор. И молодая круглолицая Анна Дмитриевна, жена Васильева, накладывает ему тарелку вёрхом.

— Кушайте, голубчик, кушайте досыта, — растягивает она не по-петербургски слова.

Сергею хорошо. Он любит эту непритворную квартирку. Тепло, и ласковые голоса пригревают его и успокаивают тревогу.

Щуря близорукие глаза от света висящей над столом лампы, Васильев говорит жене:

— А ты, Аннушка, хоть и зоркая, а проглядела, что у Сережи тарелка уже пуста. Клади ему масла побольше, не слушай, что будто сыт. Мальчишек надо в ежовых рукавицах держать, учил мой покойный профессор. Им бы только на палитре — масло, а в животе — хоть вода...

Сергей расхохотался, чуть не расплескав полную до краев кружку домашнего мятного кваса.

— Яков Андреевич, любимый вы мой хозяин, скоро вы сами станете профессором! До еды ли мне? День-то какой сегодня!

— А что? День как день. Это вы про завтрашний экзамен? Чего вам бояться? «Дело не в медали, а во внутреннем удовлетворении, в честном отношении к мастерству», — говорил всегда профессор... Ох, Аннушка, я что-то сегодня устал, а надо еще отчет в совет кончить. Академия — не кредитор, она не ждет. А насчет медали скажу вам по секрету: получите наверное.

Сергей вспыхнул.

Васильев добродушно рассмеялся:

— Да вы не смущайтесь. По мне, всякие там менюэты с барышнями таять куда страшнее, я к ним и по окончании академии привычки не получил. А то подобно Вандику уже портреты в знатных домах пишете, по-французски понимаете, а всё робеете, как красная девица.

— Да что ты их конфузишь, Яша, — вмешалась Анна Дмитриевна. — Так они и поперхнуться могут.

— От дружеских шуток не поперхнешься, не бойся. Если бы Сережа был моим учеником — моим произведением, годами создаваемым, как говаривал мой профессор, — разве я бы с ним так беседовал! Ведь он сейчас

только еще «подмалевок»¹. Из него должна выйти картина, достойная истинного значения этого великого слова.

Анна Дмитриевна, опустив руки, слушала мужа, точно оракула. А он с молодым восторгом вспоминал слова учителя:

— «Я тебя, юноша, не осуждаю, — твердил мне постоянно мой профессор, — а чуть плеточкой по сердцу твоему прохаживаюсь, чтобы ты и в уме не держал работы наотмашь, то есть малевать с единственной задачей — приобрести деньги. Лучше просиди лишние год-два, а своего достигай. А ежели не хватит пороку, будь тогда порядочным рисовальным учителем, чем дрянным живописцем»... Ну и жарко же натопила, Анюта, — разморило, что в бане!..

Он вытер еще нетронутый морщинами лоб и продолжал восторженно:

— «Я никому из вас, учеников, не перечу: хочешь — будь художником исторической живописи, хочешь — батальной или по написанию портретов. Хочешь — выбирай себе зверюпись или живописуй цветы, становись хоть мозаичистом — все едино. Но только умей его, искусство, приголубить. Оно что птица: упустишь — не поймашь. Я сам, с хлеба на квас перебиваясь, дошел до академии. Главное — это не лениться сидеть «на натуре», а безнатурную отсебятину раз навсегда позабудь. Садись за бумагу или холст и бери ее, стерву-натуру, прямо за горло!»

— Чего же ты ругаешься, Яша, — запротестовала Анна Дмитриевна.

— Слово из песни, как известно, не выкидывают, Аннушка.

— А вы, Яков Андреевич, и верно, точно песню слова учителя выпе-
ваете, — улыбнулся весело Поляков.

— А разве не наша такая-то песня, Сережа? — все более и более загорался Васильев. — «Щепетильность — мелочи там всякие — на задний план гоните, молодые коллеги. Сначала начертайте картину смелой рукой в общем размахе. А после уж оглядите, какая где пуговка, завязочка или бантик забыты. Подробности — дело сапожника, портного, шляпника, а художник охватывает все в целом. Выпишет видеписец каждый листик, сугубо контуры выведет, как узор какой, и не даст общего вида — так пусть подарит свой труд на стенку в харчевню».

— Да ты, Яша, и впрямь наизусть, словно молитву, все вычитываешь.

— Это я, Аннушка, оттого, что не перед несмышленным мальчонкой из младшего класса, как обычно, говорю, а перед понимающим уже, взрослым художником.

Он положил руку на плечо Полякову:

— Сережа, верьте мне — далеко пойдете. И хочу, чтобы так же далеко пошел в свое время и мой Егорушка. Слышь, Анюта, сынок голос навспомине подает. А ты, рот разиня, нас слушаешь. Ступай, ступай к своим материнским обязанностям.

Анна Дмитриевна метнулась в соседнюю комнату, откуда доносился требовательный крик Егорушки.

¹ Подмалевок — подготовительная стадия работы над картиной. На стадии подмалевки обычно в одном тоне прорабатывается светотень.

— Вы, Сережа, подумайте, — продолжал Васильев, — портретная живопись верный кусок хлеба дает. Но историческая и на мой взгляд — выше, куда выше! В ней — простор, говорил профессор, полет для души.

Голос его звучал вдохновенно:

— Я, Сережа, о вас часто думаю. Вы у нас в академии господами своими как бы напрокат даны. Хорошо, что вы им не понадобились, позволяют развиваться таланту. А талант у вас очень большой. Помню, как вы пришли в первый раз экзамен держать по весне... Все мы любим весну, когда в академию слетается рой «посторонних» учеников. Профессор, бывало, говорил: «Придет другой — сморчок сморчком, рваненький, совсем, казалось бы, никудышный. А сделает карандашом взмах, проведет штрих — ухватку его, почерк, силу разом и увидишь!» И верно, весна точно крылья всем дает! Нева льдом трещит, пыжится. У академии народ толпится, на силу природы любитесь. «А я, говорил профессор, на силу таланта человеческого»...

Он махнул рукой от избытка чувств и отодвинул тарелку.

— Про отчет-то я и вовсе забыл!

Сергей поднялся и поблагодарил хозяина за ужин.

— Не меня! Не меня, Аннушку-заботницу.

— Спокойной ночи, Яков Андреевич.

— Спокойной ночи, Сережа. Спите, набирайтесь сил для большой жизни.

3

«РОЗОВЫЙ» ДОМ

Сергей тщательно оделся. Надел даже фрак, на который истратил недавно крупную сумму. Старательно причесался. Зеркальце отразило лицо с большими черными глазами и тенью пробивающихся усов.

По воскресным вечерам он почти всегда бывал у графа Федора Петровича Толстого, члена совета академии, известного художника-медальера, с которым познакомился через Васильева. Кто не знал так называемого «розового» дома на 3-й линии Васильевского острова, в котором жил Федор Петрович... До него было рукой подать, только миновать старый длинный забор вдоль рекреационного академического двора. Там стояло три деревянных одноэтажных здания, принадлежащих академии. В одном жил архитектор Гомзин, в другом — профессор живописи Варнек, а посредине, в красивом розовом доме с мезонином и стеклянной крышей, — Толстой.

Еще не стемнело, когда Сергей дернул звонок у подъезда. Ему открыла горничная:

— Граф еще работают.

— Я всегда раньше всех, — засмеялся Сергей. — Ничего, посижу пока у Ефремовны.

Он прошел коридорчиком, мимо парадных комнат, в каморку няни Толстого Матрены Ефремовны.

Здесь царил свой, особый порядок. На комод, покрытом вязаной скатертью, были симметрично расставлены старые детские игрушки, какие-то раковинки, камушки, принесенные в дар няне ее питомцами. Рядом — монашеские рукоделия: коробочки и подставочки для подсвечника из семечек. У киота — вербы, свечи, раскрашенные яйца-писанки и лампадка в виде летящего голубя. На стенах — в самодельных рамках десятка полтора детских рисунков: лошадок с лихими всадниками, кораблей, цветов, диких птиц.

На высоко взбитых перинах сидела маленькая старушка в ватной кацавейке и, опираясь ногами в большой сундук, быстро вязала на спицах.

Улыбнувшись беззубым ртом и не бросая работы, она закивала головой:

— А ты и нынче спозаранку, дружок. Как здоров?

— Благодарю вас. Что мне делается? А как ваше здоровье?

— Бог грехи милует, видно, на тот свет мне дороги еще не приготовлены. Поживу, батюшка. Вот чулочки всем теплые к крещенским морозам кончу, а там стану вязать и на продажу.

— Для чего же на продажу?

Ефремовна подняла на Сергея глаза:

— А как же?.. Надо ж мне себя оправдать. Ем, пью, комнату занимаю, а Федюшке на всех не разорваться. Для тебя, да и для всех, он знаменитейших художеств советник, а для меня был и есть Федюшка. Я его на этих самых руках растила и штанишки первые надела. Невелики были богатства у родителей. Батюшка граф больше честью богат, чем деньгами, не умел наживать. А матушка — рукодельница, все шелками картины шила да игрушки сама делала лучше, чем в магазине... Ну, а продавать — ни-ни, зазорно! Семья большая, у детей рты проворные, зубки крепкие, животы целый день пищу просят. Трудно растить-то было.

Она передохнула, точно вспоминая, и продолжала:

— Ну, Федюшку, известно, по графской знатности, как крестили, так в сержанты и записали. Да сразу и отпуск младенцу дали на год из лейб-гвардии Преображенского полка.

Сергей улыбнулся:

— Отпуск? Младенцу?

— Не веришь, голубь? Такая тогда бывала манера: родился дворянин, ну и служи царю-отчеству с малых лет. Каждый год так вот и давали отпуск, пока рос. Опосля поступил в корпус, а там и морским офицером стал.

— Слыхал я, что граф не захотел служить во флоте.

Лицо Ефремовны приняло строгое выражение.

— Как это так, в военной службе да не захотел служить?.. Нешто этак можно, ежели его в сержанты еще при крещении даже определили? Федюшка у нас до лейтенанта дослужился и на кораблях в чужих краях побывал. Только вот рисовальная глупость ему дороже жизни была. Уж я его, случалось, ругаю, ругаю. В детстве и посеку малость. А он — все за свое...

Она указала спицей на рисунки по стенам. Сергей давно знал эти дет-

ские попытки Толстого выразить неумелой еще рукой щедрость своей ребяческой фантазии.

Голос няни сделался сердитым:

— Вот он и снял мундир, дурачок. Да ты, батюшка, видно, не понимаешь, что он не вам чета. Вас — кого барин ткнул в академию, кого казна послала, а ему какво пришлось?! Вся родня — на дыбы. Кричат: «Малышом заделался!.. Лучше иди ко двору, мы тебя камергером с ключом¹ представим к самому государю. Ну и чины, и все прочее...» Раз дядюшка его, старый-старый, глухой и строгий, даже написал родителю Федюшки, что Федюшка сошел с ума: ходит, вишь, в курточке, в длинных волосах и, дойдя до совершенных лет, стал учиться, как маленький. А у Федюшки волосики мягкие, что шелк, — красота ангельская, и на концах вьются. Зачем их стричь? Он не солдат. И курточки я сама ему спервоначала шила, — деньги-то у него где были? Не было. В те поры стал он гребни модные да броши на продажу делать, а я чулки вязать.

— Неужели и чулками можно было помочь графу, Ефремовна?

Она пожевала губами и пренебрежительно взглянула на гостя:

— Что ты понимаешь! Чулки! Одни чулки, думаешь? Не-ет...

И, лукаво сощурив глаза, точно запричитала певучим голосом, которым когда-то баюкала питомца:

— Я ему и говорю: «Не корись, Федюшка, не корись! Работай, батюшка, работу бог любит, хоть и противная она у тебя, надо правду сказать. Не бойся, родной, старая нянька найдет, из чего щец сварить». И взялась за свой сундук. Сперва продавала полотно, миткаль да всякую всячину, что в ихнем же толстовском доме нажила. А насчет чулок, голубь, — так знакомство по Питеру большое, ну и от покупателей нет отбою... И перчатки, и митеночки, и чулочки — все надобно, особенно зимою — теплые. Деньги же от него все отбирала на харчи...

Она гордо посмотрела на Сергея:

— И он меня бережет. Да и кого не берегли Толстые? Племянник мой Иван Кудрявый, вольноотпущенный Толстых, до сих пор каждую обедню за них свечку ставит. Барышню-полячку с приданым за себя взял, дом свой, капитал нажил, какой, может, Федюшке и не снился. А ходит сюда, к ручке господской, по старинке, прикладывается и стоит, как во фронт вытянувшись. Федюшка же его за стол с собой сажает. А меня ох как бережет!..

Сергей знал, как относились Толстые к Ефремовне. Никогда не забывая, что у старой няньки больные ноги, они нанимали для нее каждый раз карету, когда она собиралась в церковь. А сами ходили пешком: лишние расходы были им не по средствам.

Спицы быстрее заходили в руках старушки.

— А ты что же таким козырем вырядился, голубь? И фрак, вишь, аглицкого сукна, — пощупала она материю, — и ботиночки новенькие козловы. С Машенькой потанцевать собрался?

¹ Ключ — в данном случае золотой отличительный знак на мундире камергера (придворного чина).

Сергей густо покраснел.

Она покачала головой:

— Дурачок ты, как есть дурачок. На кого глаза-то поднял?! Ты звания низкого, а она графская племянница, исконная столбовая дворянка Баратова. И маменька у нее к тому же — перец, страсть! Ты вот ее, маменьку-то, до сей поры еще не видел. Она в деревеньке своей пауком сидит, прочит дочке богача мужа. Поразмысли, глупый: ты ровно из берестяного мужичьего кузовка явился на свет, а Машенька ведь... Вот и легка на помине! Шажки ее, слышь, деликатные.

Сергей вскочил.

Дверь скрипнула, и в комнату вбежала молоденькая девушка в белом тарлатановом¹ платье. Светлые локоны прыгали у нее по плечам. Голубые глаза радостно искрились. От порозовевшего лица, от всей легкой фигуры, с еще по-детски тонкими руками, веяло морозной свежестью.

— Иди, иди, касатка! — ласково встретила ее Ефремова.

— Здравствуйте! — сказала Машенька высоким, звонким голосом. — Здравствуйте, нянечка.

И, поцеловав старушку, начала быстро рассказывать:

— Гуляли мы сейчас с тетенькой. На дворе — холод! Ужас! Квартальный у будки даже нос, говорят, отморозил. А к Гостиному навезли кучу елок... Тетенька купила мне у разносчика пряничного конька с сусальным золотом, совсем как в святки на ярмарке продавали. Тетенька говорит: грубое лакомство, деревенское. А по-моему, все деревенское — самое лучшее. Правда, нянечка?

Она говорила, а сама косилась веселыми глазами на Сергея. Потом неожиданно бросила:

— Сегодня весь вечер танцевать будем. Ваша первая кадрили, как обещала. Радый?

— Рад! — засиял Сергей.

Машенька счастлива. Она первый год в Петербурге, и все ей здесь ново, все интересно. Росла она слабым ребенком, и мать, отчасти из-за этого, отчасти из экономии, до шестнадцати лет держала ее в маленьком тверском имении. Там Машенька радостно отдавалась деревенской жизни. Она любила и крестьянские работы, и беготню по старому, запущенному саду, и клумбы в палисаднике, и грядки в огороде, где помогала полоть женщинам потихоньку от матери. А потом прятала руки с обломанными ногтями и трещинами на пальцах, чтобы маменька не сказала: «Бесстыдница! Барышня, а руки, как у мужички. Ах, срам какой, с холопами водилась!» Маменька считала крестьян чем-то вроде домашних животных. А для Машеньки они были милыми людьми, друзьями, делившими с ней счастье деревенского приволья.

И вот это ощущение счастья, которым дышало все ее существо, и любовь к деревне привлекли к ней Сергея со дня их знакомства. Из всех ба-

¹ Тарлатан — легкая материя вроде кисеи для бальных платьев того времени.

рышень светского круга она одна выделялась простотою и искренностью. Никто так звонко не смеялся. Ни у кого не было в глазах такого ясного света. Казалось, солнце пронизало ее всю и светилось в ее глазах, в улыбке, играло в каждом завитке ее пушистых волос.

Еще осенью, в первый раз танцуя с Сергеем у Толстых, она вдруг фыркнула:

— Посмотрите, Ксюша, горничная, в дверях. Глядит сюда, а ноги у нее так сами... и ходят. Так бы и прошлась по зале. В деревне я всех девушек учила французским танцам... А вы знаете деревню?

Еще бы ему не знать деревню!

В коротких словах он рассказал ей, что родился и вырос там.

— Ну? — обрадовалась Машенька. — Значит, и в ночное ездили? Да? Как я завидовала мальчишкам. Без седла мчатся как сумасшедшие, а потом сидят у костра и пекут картошку. Этого я не могла себе позволить. У меня маменька очень строгая... А сенокос! Такая прелесть! Запах какой! А в саду в это время липа цветет... Коров любите?

— Люблю, но лошадей — больше.

— Grand gond! ¹ — кричал в это время дирижер.

Машенька засмеялась:

— Вот вы и напутали! Задумались о деревне и спутали па... А телята? — продолжала она. — Какие у них мягкие-мягкие мордочки, ресницы длинненькие, и глаза точно в душу заглядывают. Правда?

— Правда.

Она заражала его своей неиссякаемой радостью. Так они нашли общий язык.

Потом Сергей, в свою очередь, увлек ее рассказами об академии, о своих мечтах художника, о сомнениях во время уроков, о начатой им большой картине «Геркулес и Омфала» ², показал несколько рисунков. И удивился природному вкусу, верному, бесхитростному суждению молоденькой девушки.

Несколько раз Машенька ему позировала. И всегда она была для него какая-то новая, привлекавшая особенным, ей одной свойственным внутренним светом. Подвижное лицо ее менялось от освещения, от темы разговора, от предыдущих занятий. Но яркий внутренний свет оставался прежним, неизменным, таким несвойственным в обычных гостиных Петербурга.

Так они полюбили друг друга. А радушие и простота небогатого дома Толстых помогли их сближению. Им обоим все здесь нравилось; и сам красивый веселый Федор Петрович, которого они частенько заставляли в старом, поношенном халате над работой медалей Отечественной войны из воска. Нравилась и жена его, грациозная, с тонким профилем и античной фигурой, служившая мужу постоянной натурой, помогавшая формировать барельефы из гипса и сама обшивавшая всю семью.

Вот и сегодня непритворное, простое общество, без намека на светское

¹ Большой круг — фигура в танце (франц.).

² Геркулес — обожествленный герой сказаний древней Греции; Омфала — любимая им лидийская царица.

жеманство, поголовно увлечено танцами. Вон «тетя Надя», маленькая, смуглая, хорошенькая, но уже увядающая, в самодельном наряде, в паре с братом Константином, ширококостным крепышом в мундире отставного военного¹. И ученик Федора Петровича — смешной, добродушный немец, тоже медальер, Торстенсен, повторявший со смущенной улыбкой своей даме: «Ошеровательно!.. Ошеровательно!..» Вот и другой ученик Толстого — датчанин Кнусен. Он остался без пары и сосредоточенно копошится в уголке над ящиком с разными колесиками и пружинками, подготавливая все для любимой забавы хозяина — фокусов.

— Дядя Федя будет, наверное, делать мудреные «тур-де-форсы», — шепчет Машенька Сергею, — он такой мастер на них. А вам нравятся фокусы?

— Очень.

Сергей счастлив, как мальчик, и не находит слов. Да и нужны ли слова?

— Grande chainel² — командует дирижер.

Танцующие берутся за руки и несутся в галопе к дверям.

Это очень весело. Они проскакивают через комнаты, убранные в греческом вкусе, с мебелью, сделанной простым охтенским столяром по рисунку Федора Петровича и обтянутой самой хозяйкой холстом с вышитым греческим узором. Вихрем пролетают через спальню, освещенную мраморной лампадой на высокой греческой подставке. Потом врываются в девичью и даже в няинину комнату.

Старая Ефремовна, не выпуская из рук спиц, бормочет полусердито, полусмеясь:

— Угомона на вас нет! Дите в детской разбудите!

— Устала, — говорит, запыхавшись, Машенька. — Пойдемте, Сережа, к дяде. Он сегодня не танцевал, — наверное, у него почетный гость, вот он и при параде.

«При параде» — значит, сидит в кабинете, которому обыкновенно предпочитает столовую или спальню. Там и лепит из воска на кончике стола.

Дверь кабинета открыта, и Сергей говорит:

— Сегодня граф действительно при параде. Новая куртка!

Громадная комната, круглая, со стеклянным потолком и той же обстановкой в греческом стиле. Пламя нескольких свечей озаряет стройную фигуру Толстого в черной бархатной куртке. Светлые волнистые волосы падают на лоб и шею.

— Иди сюда, баловница, — увидел он Машеньку, — чего заглядываешь? Сережа, и вы здесь? Идите оба сюда.

Машенька бросается к нему на шею:

— Какой ты красивый, дядечка! Совсем Рафаэль! Недостает только берета. А где же твой старый халат?.. Сережа, знаете, дядя ни за что не снимал своего «дружка» — любимого, рваного уже халата. Ну, тетенька раз

¹ Отец известного поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого.

² Большая цепь — фигура в танце (франц.).



Пламя свечей оваряет стройную фигуру Толстого в черной бархатной куртке.

и подшутила: вместо заплаты пришила железную заслонку от печки. Вот смеху-то было!

Она расхохоталась. В ответ послышался густой, сочный бас:

— Ты чего же не здороваешься, насмешница?

Машенька вспыхнула и присела в реверансе:

— Иван Андреевич, не осудите, что я так вбежала... А это Сережа, вы ведь его знаете.

Сергей поздоровался.

Расставив широко ноги, грузно сидел в кресле баснописец Крылов, несколько небрежно одетый, с копной кудрявых спутанных волос. Он показывал скелет какой-то необыкновенной рыбы из коллекции хозяина и говорил:

— И придумал же творец этакое чудище!

— А вы напишите про него басню, — вырвалось у Сергея.

Крылов тряхнул головою:

— Тоже выдумал, батюшка, — басню! Это тебе не лисица и журавль. Ты погляди-ка хорошенько на нее, кто ж ее «душу» постигнуть может?

— Вы, Иван Андреевич, наш мудрец! Вы любую душу постигаете, — заметил многозначительно Толстой.

Крылов откинулся на спинку кресла, полузакрыв глаза, и полные плечи его заколыхались от смеха:

— Я, батенька мой, человеческих душ остерегаюсь. Боюсь, обидятся на старика. Я все больше про зверушек. Те басен читать не станут.

— А если бы умели — вот крик да вой подняли бы! Уж очень они у вас нравами на людей смахивают.

— Что вы! Что вы, батюшка, какой поклеп на незлобивого шутника возводите!..

— Знаем, знаем мы такую-то незлобивость! — смеялся Толстой. — За нее сколько уже раз цензоры прикрывали ваши издания и типографии печатавали.

Машенька шепнула Сергею:

— Иван Андреевич только вид принимает, что ему лишь бы подремать да вкусно покушать. А на самом деле... Дядя рассказывал... Он такой умный. Все видит, все понимает...

У бильярда, на середине комнаты, кончили стучать шарами. Федор Николаевич Глинка, знакомый хозяина по корпусу, маленький, худенький, черненький — «совсем блошка», говорила про него смешливая Машенька, — не дал, видно, спуска своему партнеру — стихотворцу еще екатерининских времен. Федор Николаевич считал себя большим поэтом и любил всех поучать. Вместе с женой он давно уже писал длиннейшую поэму, которую озаглавил «Капля». А старик Тимофей Патрикеевич всю жизнь мастерил вирши «на случай»: восшествия на престол, именин высоких особ или получения ордена... За это ему платили кто «красенькую», кто «синенькую» — рублей десять или пять, а то и «трояк», смотря по достатку, и приглашали пообедать, поужинать. Зато истинное утешение он доставлял главным об-

разом непритязательным вдовам своими надгробными эпитафиями и очень гордился этим.

— Ты спрашиваешь, — изрекал Глинка, — что означает название поэмы «Капля»? Объясни, Авдотья Павловна.

Уже немолодая жена его, в старомодном платье, широкими складками спадавшим вдоль нескладного тела, степенно отозвалась:

— Наша «Капля» повествует о том, как богоматерь, по дороге в Египет, дала каплю молока умирающему ребенку разбойника, и тот воскрес.

— Замечательное сказание! — проговорил Глинка и, в свою очередь, снисходительно спросил: — А ты что пишешь, дружок?

— Трагедию, — тоже не без чувства собственного достоинства ответил Патрикеевич, — александрийскими стихами¹. Ибо стихи такого рода следуют писать только во весь александрийский лист².

Кругом улыбнулись такому своеобразному определению формы стихосложения.

— А сколько действий в твоей трагедии? — продолжал расспросы Глинка.

— Семь действий... одной осьмушкой.

Машенька едва удержалась, чтобы не фыркнуть.

Крылов спокойно посмотрел на обоих из своего уголка и бросил вполголоса Толстому:

— Вот она, житейская истина. Один — в благополучии, а другой, почитай что, в нищете. И оба — равно плохие поэты.

— Да-с, — с гордостью проговорил Тимофей Патрикеевич, — началом сей трагедии я самим великим Державиным был отмечен в оное время.

— Ох-ох-ох! — вздохнул на весь кабинет Крылов. — И каждой-то зверушке найдется на земле место...

Он закрыл глаза и точно погрузился в привычную полудрему.

— Идите, идите поближе, солнышко наше! — напыщенно приветствовал Глинка Машеньку. — И с молодым представителем искусства вместе. Принесите мне счастье вновь побить Патрикеевича на зеленом поле бильярда.

Почти к самому ужину подъехали новые гости: красивый, стройный драгунский офицер Александр Бестужев³ и его штатский друг поэт Рылеев. Приехавшая с ним жена его Наталья Михайловна была скромно одета. Ее красили большие выразительные глаза. Нервное лицо Рылеева и его необыкновенная подвижность обратили на себя внимание Сергея. Поэт, казалось, не мог усидеть на одном месте и расхаживал по кабинету, наклонив слегка набок голову, точно прислушиваясь. Он говорил немного хриплым, словно уставшим голосом:

¹ Александрийский стих — двенадцатисложный стих, названный по старофранцузской поэме об Александре Великом.

² Александрийский лист — плотная белая бумага большого формата.

³ Известный впоследствии писатель, под псевдонимом Марлинский.

— Наташа еле выехала из дому — голова болела. Вот мы, простите, и запоздали. Если бы не Александр, я бы не решился так поздно.

— Я не могла не соблазниться предложением Кондратия, — тихо добавила Наталья Михайловна. — Я так люблю бывать у вас.

С детским восторгом она осмотрела новые работы Толстого, благоговейно поддержала стеку¹, удивляясь, как можно простой деревяшкой создавать такую красоту и тонкость очертаний.

За ужином пили дешевый медок, ели холодное мясо с квашеной капустой и, для праздника, сивовую кулебяку, а на десерт — домашние печеные яблоки. Специально для Крылова были приготовлены, как всегда, его любимый поросенок под хреном со сметаной и бутылка солодового кваса.

Бестужев хохотал, непринужденно напевая:

— Cito! cito! Piano! Piano! Сыто, сыто! Пьяно, пьяно!

Милое лицо Рылеевой улыбалось. Боль в голове у нее прошла, и она рассказывала хозяйке дома о своей маленькой дочери Настеньке.

Густой бас Крылова покрывал все голоса:

— Вы, голубчики, пишите себе на здоровье, только не лабазным языком. А то с тупым языком остролосл только рифмы ниже; другой — мед-медович сладок, тошно читать; а третий в облака завьется и уж, глядишь, богу за пазуху лезет! За красавицей Метроманией² волочиться стало нынче куда как модно.

Все дружно рассмеялись.

С литературы разговор незаметно перешел на живопись.

Сергею было интересно слушать, но мысли его полны Машенькой. Лишь отрывками до него долетело сообщение, что в академии предполагаются большие перемены; называлось имя известного царедворца, художника и мецената Алексея Николаевича Оленина.

Толстой рассказал о традиционном собрании в Императорской публичной библиотеке, где главным начальством был тот же Оленин. На эти ежегодные собрания приглашалась вся петербургская знать.

— Читался отчет о деятельности библиотеки, — говорил Федор Петрович. — А под конец, всем на радость, Иван Андреевич прочел свои новые басни.

— Вы когда-нибудь слышали, Сережа, как читает Иван Андреевич? Лучше самого лучшего артиста Александринского театра! — восторженно шепнула Машенька.

После ужина гости стали разъезжаться.

Машенька подошла к Сергею и с необычно серьезным лицом сказала:

— Пойдемте в залу.

В полутемной уже комнате догорала последняя свеча.

— Сережа, — начала Машенька все так же серьезно. — Сегодня, глядя на Рылеевых и на дядю с тетей, я все думала о нас с вами.

¹ Стéка — деревянная лопаточка, инструмент скульптора.

² Метромáния — страсть к стихотворству.

Он поднял на нее глаза, пораженный. Как она могла угадать его мысли?
— А мы с вами, Сережа? — продолжала Машенька. — Как же мы дальше... в жизни?

У Сергея дрогнуло сердце:

— Машенька!

— Если вы любите меня, как я вас... одного... на всю жизнь...

— Машенька... Машенька...

Он не мог говорить от счастья.

Она положила ему руку на грудь:

— Я люблю вас, потому что вы не такой, как все другие молодые люди. Потому что вы — большой талант. Потому что вы, как и я, росли в деревне и любите все, что люблю я. Потому что вы очень красивы, Сережа. Потому...

Он рванулся к ней.

Она остановила его, потом приподнялась на цыпочки и крепко поцеловала в щеку.

— Теперь мы жених и невеста. Да?

Он припал к ее руке.

Машенька мечтательно закрыла глаза:

— Вы будете знаменитым живописцем, и мы обвенчаемся.

Сергей почти застонал:

— Но ваша матушка? Она никогда не согласится. Ведь я крепостной.

— Господи, при чем тут «крепостной»? — Она открыла глаза. — Вы же прославите себя, и вас пошлют в Италию. После академии вам сразу дадут чин и дворянство. Так мне объяснял дядя. Все дело в том, чтобы скорее кончить академию и чтобы маменька не успела выдать меня замуж. Но я еще молодая. И дядя поможет. Я попрошу. Тсс!.. Сюда идут. Надо уходить. Прощайте!

Она убежала, а Сергей остался возле догоравшей свечи. Трепетный огонек вспыхнул, задрожал, как живой, и разом померк. Сергей как во сне вышел в переднюю, надел машинально шубу и сошел по ступеням во двор. В морозной полумгле слышались голоса и смех расходившихся гостей:

— Cito, cito! Piano! Piano!..

По улице проезжал извозчик. На снегу темными силуэтами рисовались фигуры Рылеевых. Мелодичный женский голос попросил:

— Кондратий, возьми извозчика.

— Куда прикажете, барин?

— К Синему мосту, братец.

Зябко кутаясь в салоп, Наталья Михайловна села в сани.

— Мороз крепчает. Дай я получше запахну полость, Наташа.

Заскрипел снег под полозьями, зачмокал на лошадь извозчик — уехали. «Вот так бы и нам с Машенькой, — пронеслось в голове Сергея. — Вдвоем домой...»

Внизу, вдоль набережной, голубым снегом искрилась Нева и уходила широкой лентой в бескрайнюю даль. Колокол пробил одиннадцать. С Петропавловской крепости донесся протяжный окрик часового:

— Слу-ша-а-ай!..

Сергей почувствовал легкий озноб. Одинокий, унылый возглас напомнил ему о сырых, холодных казематах, где долгими годами томились словно заживо погребенные узники.

4

К КРАСОТЕ И ПРАВДЕ

Весна пришла сразу. Подуло бурным ветром в окна. Дощатый переход по льду Невы убрали, и людям пришлось кружить через мосты.

На дворе академии и возле круглого здания с фасадом храма Весты ученики уже в одних куртках играли в городки, в лапту и стародавнюю свайку. Звонкие голоса и смех слышались и в академии.

Служитель Матвей Пыляев, покровительствующий тем, у кого родители были состоятельней, не раз окликал особенно бойких:

— Ужо погодите — не миновать вам карцеру!

Вечером Сергей собрался в баню. Казенные натурщики перестали нравиться ему. Он надеялся отыскать кого-нибудь, кто согласился бы позировать ему для этюда. До сих пор он еще ни разу не встречал человека с полной гармонией частей тела. А неживые образцы классических скульптур были основательно изучены.

Сегодня, как всегда, войдя в мыльную, он остановился и стал осматривать моющихся. Остро пахло березовыми вениками и мятным мылом. В сплошном пару голоса звучали приглушенно. С шипением и всплесками из кранов лилась вода. С потолка падали тяжелые, крупные капли. Стены и окна запотели, и по ним сбежали ручьи.

Сергей искал. Вот уверенной походкой идет, тяжело дыша, толстяк. Он говорит хриплым басом:

— А ты ловок ли будешь, парень? Поддавать пар надо умеючи. Вся моя отрада — баня. А ты, видать, здоровый, сильный. Уж потрудишься, не жалея себя. Отблагодарю, не обижу.

— Как прикажете, ваше степенство.

Голос молодой, симпатичный. Сергей оглянулся и замер: перед ним был живой Антиной с классическим торсом, с изумительно поставленной головой, с совершенной мускулатурой. Руки, ноги, плечи — редкая красота. И лицо...

Банщик открыл дверь в парильню и пропустил перед собою толстяка. Дверь захлопнулась.

Сергей поставил шайку на скамейку и побегал за ними.

Его охватило палящим жаром. Слышалось фыркание, оханье, хлест веников. Чтобы не задохнуться, люди лежали на полках, засунув головы в облитые холодной водой деревянные шайки. Веники лихо взвивались и опускались на смутно белевшие тела. Банщики плескали в открытую пасть особой печурки воду, поддавая пару. Трудно было разобрать в этом сплошном жгучем облаке отдельные фигуры. Но Сергей нашел то, что

искал. На глазах у изумленного толстяка он подскочил к банщику и каким-то робким, срывающимся голосом, почти с мольбою сказал:

— Ты, братец, после них меня вымой. Я... я как следует заплачу.

Банщик приветливо ответил:

— С превеликим удовольствием. Где изволите приказать сготовить место?

— У меня место занято в мыльной, рядом с холодным краном.

Купец недовольно буркнул:

— Молодые, могли бы и сами помыться. Я долго буду париться.

— Ничего, я подожду.

Купец парился без конца, и без конца с ним возился банщик. Потом он понес воду в раздевальню.

Наконец банщик вернулся. Остановившись перед Сергеем, он с недоумением посмотрел на него большими синими глазами. Что это так устал был на него молодой человек и почему улыбается? Может, за знакомого признал?

— Заморил тебя купец? — спросил ласково Сергей.

— Ничего! Наше дело привычное. Как прикажете: воду попрохладнее аль погорячее?

— А ты сам-то откуда, братец? — не дослушал вопроса Сергей.

— Мы-то? Скопские мы, великолуцкие. Рокотовых господ были допреж, да на волю родитель откупился. А ныне на деревне корма плохие, недород, тятка и велел идти на промысла... Да какой промысел, что я знаю? Брат сапожничает в Великих Луках, я же к пашне приучен. Ну и пошел в банщики. Спинку потереть крепче прикажете?

— Ничего я тебе не прикажу, — сказал восторженно Сергей. — Разве такому можно приказывать!

Банщик спокойно отвечал:

— Это как вам будет угодно. Ручку поднимите выше, господин хороший.

Сергей сделал нетерпеливое движение, и мочалка выпала из рук банщика.

— Послушай, братец, тебе нельзя оставаться в бане. Ты сколько здесь зарабатываешь?

— Когда как, барин. По субботам, вестимо, больше и под праздники. На харчи хватает, а вот старикам домой никак не сколотишь.

— Слушай: хочешь иметь сытный обед и ужин, квартиру, казенную одежду, а жалованье станешь родителям посылать?

Парень замер с поднятой мочалкой. Хлопья мыльной пены упали Сергею на колени.

— Премного благодарен. Только тятка сказывал, отпуская в Питер: гляди, сынок, будут тебя манить и деньги большие сулить, не зарься на богатство. Можешь в грех попасть, а тогда... прокляну.

Сергей расхохотался:

— Ты меня, никак, за мошенника принял? Да не воровать я тебя толкаю, а на честный труд. В натурщики!

— Это что же такое будет, барин?

— Это в академию. Знаешь, тут близко, на набережной? Там с тебя будут рисовать и за это деньги платить.

Банщик недоумевал:

— Нешто это работа?..

— «Натура» — работа нелегкая. Натурщик часто очень устает. А у тебя от природы красота, дар замечательный. Нарисовать тебя художнику — радость.

На Сергея в упор смотрели синие строгие глаза.

— Го-ло-го? Ай, срамота какая!

— Чудак ты, право! Какая же срамота рисовать то, что природа со-
здала?

Банщик молчал.

— Ты подумай-ка до завтра, а я зайду за тобой. Завтра воскресенье, бани закрыты. Где ты живешь?

Тот день был особенно суматошлив. Еще накануне объявили, что в академии назначен конкурс натурщиков.

Люди сведущие знали, что натурщик — великое дело для художника-ученика. Он неразрывно связан с ним на уроках мастерства. Натурный класс — его стихия. Обязанности его там разнообразны. Он и топит печь, и убирает после уроков. Он «сидит на натуре» часто до обморока, изображая то Геркулеса, то Дмитрия Донского. Нередко он первый узнает от профессоров о присуждении ученику медали. На выставках он гордо прохаживается среди публики, стараясь иной раз во всеуслышание заявить, что на картине изображен не кто другой, как он сам, своей персоной. А с каким достоинством держит он себя в трактире, выпивая чайник за чайником и исходя испариной, как сыплет «мудреными» словечками перед оговоренными слушателями:

«У нас, в академии, главное — натура!.. Я, к примеру, цену себе знаю. У меня мускул богатый. И притом же я еще и пемзовать холст отменно умею...»

Кто же из них, с улицы, поймет, что пемзовать — значит протирать холст пемзой после грунтовки его краской? И что такая работа вовсе не требует особой сноровки.

В то утро солнце, казалось, особенно ярко освещало натурный класс. Оканчивающие академию ученики и несколько профессоров окружали деревянный станок и группу обнаженных на нем людей. Как заводные, натурщики сгибали по приказу руки, вздували на них мышцы, вытягивали ноги, склонялись, поднимались, вскидывали головы. У некоторых были испуганно-недоуменные лица; у других — красные от волнения; третьи стыдливо оглядывались по сторонам. А профессора и ученики поворачивали их, ощупывали мускулы, критиковали, командовали:

— Сходи, сходи. Следующий!

Голос старшего ученика, Карла Брюлло, выделялся из общего гула звонким смехом:

— Вот уж выискали Аполлонов! Нечего сказать — антики!.. Покорно благодарю за такую натуру!

— Да ведь и ты пока что не Фидий!¹ — поддразнивают общего любимицу товарищи.

Карл с гримасой отворачивается к окну, и солнечный луч зажигает его рыжеватые кудри яркой медью.

Профессора и преподаватели расспрашивают:

— Ты откуда, любезный? Из огородников?

— Точно так. Мы вот все трое с огородов, из-за Московской заставы...

— А вот ты, братец, поди, деревенский? На щах да на хлебушке вон какой живот нарастил.

— А кроме того, что ж еще в деревне есть? — хмуро огрызнулся нескладный малый. — Сторона у нас вовсе убогая...

— Ну и не годишься. Следующий!

Слегка смущаясь, на станок ловко входит молодой парень.

В толпе знатоков затаили дыхание.

— Вот этот да-а!.. Откуда?

— Что за руки! А груди!

— Бицепс-то, бицепс! Черт возьми! Сейчас — Антиной, а годков через пять-шесть — настоящий Геркулес... Что скажешь, Брюлло?

— Да, торс невиданный.

Кругом продолжали восклицать:

— Ноги-то, ноги! А голова!

— Смотрите, сынки, не заморите такого на натуре. А то дорветесь до красоты — о самом человеке и забудете...

Профессор исторической живописи Егоров напомнил ученикам про случай с натурщиком в скульптурном классе. Изображая божество Нила, тот упал в глубокий обморок, продержавшись несколько часов без передышки в одной позе. Его пришлось свезти в больницу, где бедняга вскоре умер.

Егоров, небольшого роста, пухлый, лет сорока пяти, с проницательным взглядом черных, немного раскосых, калмыцких глаз, в вечной кожаной ермолке, заинтересованно спросил:

— Откуда такой взялся?

Сергей Поляков счастливо заулыбался.

— Ты? — кивнул в его сторону Егоров. — Где ж ты, волшебник, в Петербурге да Элладу Праксителю² откопал?

— В бане.

По классу прокатился дружный смех. Смеялись профессора, смеялись ученики, смеялся радостно и Сергей. Натурщик окончательно сконфузился.

— Я его, Алексей Егорович, действительно в бане увидел, — рассказывал Сергей. — Банщиком он был. Едва уговорил идти сюда на просмотр. Я ему: жалование будешь получать, квартиру, и от нашего брата

¹ Фидий — великий скульптор древней Греции.

² Пракситель — величайший скульптор древней Греции (Эллады).

перепадет, если в свободное время станешь позировать. А он мне свое: «А это не зазорно нагим стоять?»

— Истинная, правдивая красота не может быть зазорной, — произнес серьезно и проникновенно Егоров. — Стыд лишь в бесчестии человека. Запомни это, голубчик.

Банщик поднял голову и обвел всех вопрошающим взглядом.

— Ну, Поляков, — закончил профессор, обращаясь уже к Сергею, — спасибо тебе от всей академии за твой подарок. А ты, голубчик, одевайся да переходи-ка из своей бани к нам. Чего тут толковать! Из всех сорока ты один годеи. Берегите его как зеницу ока, ибо это сущий клад для искусства. А зовут-то как?

— Агафопод, — ответил банщик и легко, словно танцуя, сбежал со станка.

— Ну и имечко! Только что не Агамемнон! Эллада, батеньки, одно слово — Эллада!..

Сергей не встретил в натурном классе своих друзей, молодых, но уже кончивших академию художников Лучанинова и Тихонова. Лучанинов пять лет назад получил диплом и так быстро пошел вперед, что в том же году, кроме первой золотой медали, получил звание академика. О его картине «Благословение на ополчение в Отечественную войну» было много хвалебных отзывов, особенно благодаря ее теме. Но Сергей считал Тихонова талантливей, хотя любил обоих одинаково. Он восхищался Тихоновым, которому, еще совсем мальчику, четыре года назад была присуждена вторая золотая медаль за картину на такую же патриотическую тему.

Безусый, тщедушный и болезненный Миша Тихонов был Сергеем ближе и понятнее Лучанинова. «Кадетского корпуса привратника сын», Лучанинов, вольный от рождения, за блестящие успехи смог скоро перевестись из вольноприходящих академии в казенные — значит, на все готовое. А Миша, крепостной мальчик, отпущенный своими господами на время, пробивал дорогу лбом и даже не получил на руки назначенной ему золотой медали. Ему только объявили о присуждении. Два года назад он кончил полный курс, но и аттестата первой степени сразу не получил. Господа его жили за границей, в разъездах. Об освобождении от крепостной зависимости долго не у кого было хлопотать. Вольная пришла только в конце лета 1815 года. И Тихонова оставили при академии, как выдающегося ученика.

Сергей нашел друзей в «кабинете» — одной из мастерских, возле мольберта с Мишиной работой. Оторвавшись от собственного этюда, Лучанинов говорил, указывая муштабелем¹ на огромную картину «Иоанн IV и Сильвестр»:

— Ты здорово понял грозного царя. Он у тебя готов пасть к ногам своего советника и духовника. Гармония потрясенного человека и этого

¹ Муш т а б е л ь — палка, употребляющаяся живописцами в качестве подпорки для руки при работе.

вот солнечного луча. Ответ его ложится прямо на лицо Иоанна. Верь мне, с каждым днем ты совершенствуешься. Вспомни великого Рембрандта — у него всегда борются свет с тенью. Но советую: усьли блик на лице Сильвестра. Эх, если б я мог так!..

Он не договорил и махнул рукой. Неуклюжий, похожий на медведя, с массивными, широко расставленными ногами, он тяжело сел на место. Изпод упавшей на лоб шевелюры поблескивал взволнованный взгляд маленьких умных, глубоко сидящих глаз. Толстые губы улыбались.

Щуплая фигура Тихонова казалась беспомощной рядом с гигантским полотном картины. Бледно-голубые, навывкате глаза смотрели растерянно. Лицо подергивалось от волнения.

— Что это ты, Иван Васильевич, право... — бормотал он, путаясь и заикаясь. — Академик, а такое мне говоришь. Я ведь это... все, что думал об Иоанне Грозном... о чем читал... Каково ему было: царь и первый грешник... А Сильвестр — зависимый, подчиненный царский раб, можно сказать. И в то же время владыка его души, учитель. Я это так, смутно еще... И не уверен, правильно ли понял задачу...

Широкая ладонь Лучанинова легла на плечо приятеля:

— Вот, вот, и гению часто сопутствует сомнение. Смутное сознание! Догадка! Предчувствие! Откровение!.. И почти всегда верное, заметь. И чем больше ты будешь сомневаться, чем больше будешь искать, тем больше сделаешь. Спроси вот его, он-то уж не покривит в оценке.

Лучанинов показал на стоявшего в дверях друга.

— Ты где пропадал, Сергей? И чего сияешь?

— Агафопод найден! — выпалил радостно Поляков. — Вот когда начнем, братцы вы мои! Все музы возрадуются, и сам Аполлон вместе с ними. Поймите вы — класси-ическа-а-ая красота! Новый натурщик — Агафопод!

— Ах, вот оно что! Ладно, увидим. Ты лучше на Мишину картину посмотри.

Сергей подбежал к мольберту и окинул опытным глазом. Лицо его стало серьезным и внимательным.

Он знал весь творческий путь товарища. На этот путь указывали и бесконечные наброски, многочисленные варианты исканий.

— Ну и ну! — произнес тихо Сергей. — За несколько дней, Миша, ты еще больше усилил борьбу двух начал: силу духа и силу плоти. И что же мне сказать тебе?

Он схватил Тихонова в охапку и горячо поцеловал:

— Поздравляю!

— Задавишь, — засмеялся Тихонов. — И силен же ты, не хуже Лучанинова.

— Вот те на! — хохотал Сергей. — Я вчера Хлобыстаеву избражал в женском одеянии богиню Минерву. Денег-то у него не густо — ну, так я ему по-приятельски битых полтора часа на натуре проторчал. А ты «Не жуже Лучанинова» — медведя!

Все трое устали, стали мечтать.

Пройдет последний лед, и, если весна будет дружная, не за горами и лето. Из академии все потянутся на природу. А осенью, к сентябрю, начнут готовиться к конкурсу. Кто-то получит первую золотую медаль?.. Кому можно надеяться на заграничную поездку в Италию, в эту колыбель искусства? Конечно, только не Полякову, не Хлобыстаеву. Оба они крепостные. А может быть, и не Тихонову даже...

Перед Сергеем проплыл милый образ:

«При чем тут крепостной? Все дело в том, чтобы кончить академию, и вас пошлют...»

Лучанинов ударил кулаком по подоконнику:

— Кабы моя воля, Миша, я бы тебя первым в Италию отправил, ей-богу!

— Меня? — Голос Тихонова прозвучал неуверенно, и он снова зябко поежился.

— А вот как будет со мной?.. — проговорил Сергей медленно. — Моего господина Благово хоть до сей поры меня и не требовали к себе, но... Кто за них поручится?

Он помолчал, потом тряхнул кудрями и улыбнулся:

— Нет, вздор все! Талант и работа должны вывести человека на широкую дорогу. В прошлом году я был в Москве на похоронах матери, так Сашенька Римская-Корсакова мне сама говорила, что Благово хвастался: вывел, дескать, своего холопа в люди — это меня, значит. И холоп, став человеком известным, будет лишь приумножать его собственную славу. Ведь и правда, лестно сказать: «Академик Поляков? Да это же наш Сережка, из наших холопов!» Много тогда Сашенька смеялась, пересмешица, ей в ту пору лет тринадцать было. Благово ей родня — сестрицей зовет. У них там, в Москве, все между собой родня, по седьмому колену, а всё «сестрица да братец».

— Да и в Питере, — пробасил Лучанинов, — и по всей дворянской России так-то! А в Москве, там всяк Сухаревой башни двоюродный подсвечник!

Сергей залился безудержным хохотом:

— Сухаревский... двоюродный... Ну и выдумал, Васильич!

На бледном лице Тихонова мелькнула улыбка — он думал о своем.

— А вы слышали, — заговорил он взволнованно, — как с Тропининым поступил его барин, граф Морков? Говорят, в Малороссии, в могилевском имении, он заставил Тропинина красить каретные колеса, стены и колодцы. А уж какой великий талант Тропинин!

— Еще бы! — подхватил Лучанинов. — Только, бывало, и разговоров в академии: «Вася Тропинин да Вася Тропинин!» Я его застал, когда еще вольноприходящим был. А все это дело рук Щукина.

— Что ты, Иван Васильевич! Щукин до сих пор поминает его своим учеником.

Лучанинов посмотрел на Сергея:

— И волк, как козленком пообедает, тоже поминает: вкусен был козленочек! А дело вот в чем, если не знаете: Тропинин учился у Щукина

около пяти лет и получил две медали. Шукину заказали как-то четыре копии с портрета государя Александра Павловича. Одну он сделал сам, а три роздал ученикам. Ну и Тропинину, конечно. Тропининская копия оказалась лучшей и понравилась царю больше других.

— Так неужели из подлой зависти отомстил ученику? — в негодовании спросил Сергей.

— Да еще как отомстил-то! Шукин — профессор, а Тропинин — холоп. Разве смеет холоп перед царем стать выше учителя? Шукин и поспешил уведомить Моркова, что, ежели он не хочет лишиться искусного живописца, пусть берет его скорее к себе.

Лучанинов заходил по кабинету.

— Тропинин, — продолжал он, — гордость России! Он всегда шел собственной дорогой. Не слушал и профессоров, когда внутренний голос говорил ему: надо так, а не этак. У Моркова он сначала в кондитерах ходил, а потихоньку уже рисовал. Нашел где-то учителя, а там и в академию попал. Вот как!

Увлечись, Лучанинов басил на всю комнату:

— Тропинин, братцы, работает особенно. Он не испугался и выговора самого профессора Лампи, перед кем все ученики трепетали. Лампи запретил ему даже вход в свою мастерскую. А все из-за того, что Тропинин выдумал собственную манеру смешивать краски прямо кистью с палитры, а не шпательем¹.

— У нас и по сей день учат по лампиевской манере, — добавил Сергей. — А мой Яков Андреевич Васильев все вспоминает слова своего профессора: «Ты работай как хочешь, хоть левой ногой. И, ежели напишешь хорошо да правдиво, слава богу. Вот тебе и твоя собственная манера». Яков Андреевич тоже истинно любит искусство и учеников бережет. Вместе с Алексеем Егоровичем он и за меня Благово просил.

— Ну и как? — быстро обернулся к нему Тихонов.

— Клятвенно обещал дать вольную по окончании мною курса.

— Вот и Тропинин так же думал... — Тихонов встал, подошел к мольберту и приник к своей картине.

Лучанинов крикнул ему вдогонку:

— Зачем от солнца убегаешь? Смотри-ка в окно! Скоро оно всех нас на волю выгонит!

С улицы точно вливался поток теплого света. И на стертом, давно не крашенном полу весело играли золотистые отсветы, зажигая все, что попадалось им на пути, в яркий радостный цвет.

— Братцы! — закричал Лучанинов. — Да я вас, как только распустят на лето, обоих без всяких разговоров стащу в Псковскую губернию, к моему приятелю помещику Елагину, в Новгородский уезд. Сегодня же напишу ему. Век будете благодарить. Там, братцы вы мои, все, что вам обоим надо: и красота, и правда, и воля!..

¹ Шпáтeль — небольшая тонкая роговая лопатка, которой чистят палитру; ею же смешивают краски.

В АКАДЕМИИ ПЕРЕМЕНЫ

Промелькнули первые недели петербургской весны с ее нежными пастилевыми красками, малиновыми зорями, холодом цветения черемухи. По Неве засновали разноцветные ялики, маня на острова послушать роговой оркестр Нарышкина и побродить в зелени над рекой.

В академическом саду зацвела сирень, а на дворе громче зазвенел смех играющих воспитанников.

Среди преподавателей и старших учеников только и говорили о предстоящих каникулах, о поездке многих «на натуру», а главное, о новом президенте Оленине. Готовились к коренным переменам в жизни академии.

Ученики рассуждали:

— Кормить стали сытнее, что толковать. И форму крепкую дали и белее. А все-таки жаль старика Головачевского — зачем было его менять? Мы его любили, и, уходя, он будто бы заплакал.

По всей академии застучали топоры, молотки, завизжали пилы: по приказу нового президента началась перестройка здания. И всюду появлялась энергичная фигура Оленина с двумя звездами на парадном сюртуке. Раздавался его властный голос:

— Везде недопустимый развал. Даже двери плотно не затворяются. А в классах копоть и затхлый воздух. К грязи и холоду, видимо, привыкли. Следует все основательно вычистить. Двери проверить, а кои и новые сделать. Позор! Даже собрания в конференц-зале иной раз отменялись из-за холода. В старшем, «третьем возрасте» плохо выбирают специальности, хотя уже давно надо бы понять, кто куда пригоден: к живописи, архитектуре или ваянию. Следует прибавить в программу обучения класс церковного пения, инструментальной музыки и танцевания. Ученики обязаны уметь прилично ходить и кланяться, чего у большинства из них я не замечаю. Но при всем том необходимо соблюдать строжайшую эконо-мию.

Ученики разделились во мнениях: одни ждали от Оленина «даров фортуны»; другие недоверчиво качали головами:

— Вы обратите, братцы, внимание на его хрящеватый нос. Выжига!.. Жмот!..

Маленький Иордан, умевший всех передразнивать, стал в позу и прошелся по классу твердой походкой Оленина. Товарищи покатались со смеху.

Иордан снова преобразился.

— А это кто?

— Покойный президент! Строганов!¹ Строганов!.. — узнали некоторые.

— Как это он его запомнил? Ведь мальчишкой видел!

¹ Президентом академии граф А. С. Строганов был с 1800 по 1811 год.

— Улыбочка-то! Улыбочка! Совсем графская!

С застывшей снисходительной улыбкой Строганова, подобрав слишком длинную от природы верхнюю губу, Иордан манерно протянул:

— Ах, не надо меня расстраивать... Что-о-о? Дурно пахнет в академии? Доложите инспектору. Как было хорошо, когда наши питомцы учились у иностранцев, кои вовсе не говорили по-русски. Французы, например, без слов показывали изящество движений...

Иордан напоминал о временах, когда в академии воспитателями и учителями были иностранцы, ни звука не говорившие по-русски. Собранные из глухих уголков России дети даже не понимали, чего от них хотят.

С новыми порядками быт в академии действительно улучшился. Это признавали все.

Каникулы быстро приближались. Ученики запаслись на все лето красками. Каждый солнечный луч говорил им о просторе полей и лесов для видописи.

В весенние ночи Сергей любил бродить с Тихоновым и Лучаниновым по набережной. Будущее казалось ему таким заманчивым. Закончить с успехом «Геркулеса» и потом — Италия, страна искусства, с ее древними портиками и колоннами, с хранящими тайну веков античными статуями, с нежными профилями мадонн Рафаэля и могучим размахом скульптур Микеланджело... И неизменно рядом с собою Сергей представлял Машеньку с ее заразительным смехом и ясными, детскими глазами. Хороша жизнь!

Высоко-высоко — светлсе небо, бескрайняя глубина и ширь. Внизу тихо и однозвучно плещется Нева. Откуда-то доносятся приглушенные окрики грузчиков на баржах и ляг якорных цепей. Правее — на фоне бледного неба мачты кораблей. А на другом берегу — строящийся Исаакий, весь в лесах, а дальше — пышная громада расстрелиевского Зимнего дворца, такого легкого и в то же время строгого в своих изящных пропорциях.

В эту ночь друзья бродили без конца — им не спалось. Долго глядели они с противоположной от академии сторсны на знакомое любимое здание.

Лучанинов оглянулся и поднял руку.

— Смотрите, — торжественно сказал он, — сам Петр указывает нам дорогу в искусство!

Сергей расхохотался:

— Это нам-то Петр указывает дорогу? А говорят, всей России.

— России и нам... особо, — согласился, улыбаясь, Лучанинов.

Тихонов поднял голову и посмотрел на силуэт великолепной фальконетовской статуи.

— «Медный всадник», — проговорил он задумчиво. — «Медный...»

Поляков прислушался. По лицу друга он видел, что тот начнет сейчас снова говорить о свих постоянных мечтах и поисках.

— Медь набата и медь фанфар... В звуках так же, как и в красках. Всюду свет и тени. Жизнь и смерть. Все сменяет одно другое и постоянно чередуется.

— Рассуждение философическое, — пробасил Лучанинов. — А я не философ и не мечтатель. Я люблю дело. Завтра же начинайте собирать свои потроха. И если ты, Мишка, соизволишь, наконец, всерьез заняться списком всех твоих надобностей для поездки, то мы через три дня сможем пуститься в дорогу. Я подговорю лошадей до Новоржева, а то и до самого Елагинского имения. Согласны?

— Со-гла-а-сны! — прозвучал дуэтом ответ.

Небо стало еще бледнее. Нева, казалось, таяла в дымке. Со взморья потянуло утренним ветром. Нежной пеленою начал подниматься туман, зарозовел, загорелся золотом, и вдруг словно брызнуло солнце.

— Здравствуй, Феб!..¹ — Лучанинов снял шляпу и низко поклонился пылающему востоку.

Все рассмеялись.

Из-за угла, звеня жестяными кувшинами, шмыгнули две молочницы и испуганно шарахнулись от подвыпивших, по их мнению, приятелей.

— А завтра-то уже сегодня, — развел руками Лучанинов. — Спокойной но... Беспокойного утра, дружки!

И все трое разошлись в разные стороны.

Утро оказалось действительно беспокойным. В академии друзей встретил невообразимый шум.

— Давненько не слышно было такого ора, — заметил Лучанинов. — Мальчишкам попадись любой предлог, они за него так и схватятся. Все старые обиды вспомнят. Но, чем они недовольны сейчас, никак не пойму.

Старшие из учеников, собравшись в коридоре, кричали, не слушая уговоров служителей — огромного грубого Анисима и добродушно-хитренького Матвея Пыляева.

— Давай нам гувернера! Он все знает! Сам тянет горькую, теперь влезая за Александрова!

— Нет, давай лучше самого инспектора!

— А может, вам его высокопревосходительство позвать, президента, голубчики? — ехидно хихикнул Пыляев. — Ведь растолковали, кажись, вразумительно, а вы всё свое. Его высокопревосходительство, обходя вчерас вечером академию, наткнулись на недвижимое тело. В коридорах, знамо, темновато, экономия соблюдается на горячем масле, ну и наткнулись... То было вовсе не мертвое тело, а пьяненький ученик Александров. Его и велели гувернеру убрать до времени в лазарет. Зря только шумите.

— Ведь и правда, в лазарет, а не в карцер, — пробовали уговорить взволнованных учеников трое приятелей.

— А потом все равно в карцер, на расправу! — И ученики лавиной ринулись к лазарету.

— Пойдем все Пашку Александрова выручать!

¹ Феб (Аполлон) — бог солнца в античной мифологии.

— Настоящий бунт, — заткнул уши Лучанинов. — Вот и изволь тут плодотворно работать. Скорей бы, братцы, на лоно природы, в тишину.

Ему, как уже академику, неудобно было высказывать интерес к «бунту». Да и Мишку с Сергеем следовало удержать в стороне — у обоих начаты серьезные работы.

А до них ревом доносилось:

— Освободить Па-а-ва-а-а!..

Ученики столпились перед лазаретом, колотя и чуть не выламывая дверь. Оттуда с опаской высунулась голова смотрителя Шелковникова.

— А-а, клистирная душа, — закричали ученики, — подавай нам Павла!

— С ума вы, что ли, сошли? Ужо, ежели его высокопревосходительство узнают... Мы вашего Павла сюда поместили вдрызг пьяного. Что еще из этого получится, неизвестно!

— Пока что получится, мы тебя всего касторкой вымажем, липучий пластырь!

— Посторонись!

Шелковников пошатнулся. Толпа хлынула внутрь лазарета.

Александров лежал неподвижно в больничном колпаке и длинной рубаше, похожий на сумасшедшего.

— Разбойники, да что же вы делаете? — пробовал остановить толпу Шелковников. — Его высокопревосходительство...

— Мы тебе покажем его высокопревосходительство! Вставай, Пашка! Что смотришь как сыч?

— Ободришь, Павел! Мы несем тебе освобождение! — выкрикнул с пафосом ученик Душинский.

Кругом засмеялись. Круглое лицо Душинского, всегдашнего молчаливого и скромника, залила краска волнения. Никто не ожидал от него необычной прыти.

— Трясите Павла, ребята! Трясите его, черта! — ревел грубоватый Степанов, хватая Александрова за плечи. — Эй, дьяволы, у кого есть кофе?

Степанов держал себя всегда атаманом. Он гордился тем, что мог свободно бывать в театре и с разными знаменитостями держался якобы «за панибрата».

— Аберда, давай кофе, — скомандовал он. — Ты всегда жуешь кофе. Что тебе, жаль вынуть его из кармана, что ли, скареда?

В другое время калмык Аберда не стерпел бы такого предположения. Но сейчас не до обид — надо выручать товарища. Кофе — верное средство. Александров пьяница, это правда, но он талантливый художник, получивший уже две серебряные медали. Ему осталось совсем немного до окончания курса. И Аберда протягивает щепотку любимого кофе. Степанов сует кофе прямо в рот Александрову и кричит:

— Жуй, дьявол тебя возьми, жуй хорошенько! А теперь дыхни. Вот уж и меньше пахнет водкой. Давайте сюда одежду болящего по воле Бахуса¹.

¹ Бахус — латинское название Вакха-Диониса, греческого бога вина.

Школьная форма облекает почти бесчувственное тело.

— Вставай, баталический живописец! — продолжал приказывать Степанов. — За твой талант стоит выдержать и не такую баталию.. А ты, слабительная напасть, — вон отсюда! — И толкнул лазаретного зрителя в шею.

В сущности, Александров — действительно подвернувшийся предлог. В сердцах взволнованных происшествием учеников всплывают давние обиды за много лет сидения в академии. Вспоминаются кулачные расправы служителей, вспоминаются розги и оплеухи, полученные от учителей, холод и полуголодное существование. Страсти разгорались, обиды росли, множились, истина мешалась с выдумкой, воображением.

— Долой инспектора! Долой Жукова!

— Хотим обратно Головачевского!

— Бей злодея Анисима! Украти ему кулаки!

— Тащи Пашку! Не дадим его на расправу. Ему к экзамену готовиться надо!

— Да держи, держи его, чтобы не свалился!

Инспектор с помощником Жуковым заперлись на ключ. Круша все направо и налево, ученики до них так и не добрались.

В академии снова тишина. В тишине многое представляется в ином свете. Она наводит на размышления.

Иордану до слез жалко «бунтарей». Их будут, конечно, судить.

А как испугается маменька, бедная, обремененная детьми вдова, когда он все ей расскажет! Она испугается и за него. Ведь она возлагает на старшего сына столько надежд! И так он отсидел уже лишние годы из-за своего проклятого маленького роста. А тут, как нарочно, кричал с другими, что Александрова следует выручить. Правда, он только кричал и возмущался, но даже в лазарет не заходил. Но все-таки... Что-то будет?

Иордан посмотрел искося на заданную трудную программу: «Меркурий, усыпляющий Аргуса»¹, и у него с тоской вырвалось:

— Даю клятвенный обет — быть особенно прилежным теперь!

— Придется ли? — услышал он рядом с собою шепот.

Серые глаза всегда серьезного Нотбека, умные и печальные, говорили красноречивее слов.

Он молча показывает на вышибленное Степановым стекло в окне и на отбитый угол подоконника.

К ним подошел Брейтгорн, тихий и скромный друг Иордана.

— И неладная наша жизнь, Федя, — выдохнул он чуть слышно.

Иордан закрыл лицо руками.

— Ох, братцы, а сейчас всего хуже. Помню, бил меня проклятый немец Голландо, зол был дьявольски! А все лучше, чем эта неизвестность.

¹ Меркúрий — бог красноречия, торговли и воровства у древних римлян; вестник богов; у греков носил имя Гермеса. Аргус — мифическое чудовище древней Греции с сотней глаз; бдительный страж.

— Тсс! Кондратьев!..

Гравер Кондратьев, учитель русского языка и арифметики в младших классах, считался строгим, но справедливым.

Иордан идет в его лице ответа на мучительный вопрос: что будет?

Голос Кондратьева звучит угрозой:

— Вы думаете, вас по головке погладят? Выгонят. Вот и пропало столько лет. Вот и утешение родителям. Вот и медали. Вот и художники. Вот и Италия. В маляры пойдете!

— Что же делать, Александр Савельевич? — поднял на него глаза Иордан.

— Повиниться.

На Иордана вдруг находит подозрение: а почему Кондратьев дружит с инспектором, заведомо подлым человеком? Что может их связывать?..

— Мы сейчас толковали с конференц-секретарем Ермолаевым, — продолжал Кондратьев. — А что, ежели узнает государь?.. Всем забреют лбы. Всех — в солдаты, и академию закроют.

Сказал и ушел, оставив учеников в полном смятении.

В классе приглушенный гул: виниться или не виниться? Просить прощения или не просить? Унизиться, спасая себя и академию, или пусть все идет своим чередом? И можно ли верить Кондратьеву, раз он явно держит руку инспектора? И надо же было дураку Александрову напиться и упасть в коридоре! Вон сидит теперь, испуганный и пристыженный, хлопая на всех глазами.

Вечер. В разбитое окно мирно светят звезды. Шелестят деревья академического сада. Двор, утопанный множеством ног, кажется серебристо-белым в лунном сиянии.

Всех учеников требуют в конференц-залу. Она освещена, как на торжествах. Столпившимся у дверей ученикам это освещение представляется злоеущим. Стол покрыт кроваво-красным сукном, а за ним — все начальство: члены совета и он — президент Оленин.

Еще до начала собрания Кондратьев снова повторил ученикам, что для них всего лучше просить на коленях прощения.

Тишина. Медленно встает Оленин. Его голова, сжатая в висках, и хрящеватый нос напоминают голову хищной птицы с острым клювом. Пронзительны блестящие глаза. Две звезды на груди синего академического вицмундира переливаются красноватыми лучами. Рука оперлась на стол: рядом — шляпа с султаном из перьев. Он обводит взглядом зал. Тишина мучительна.

Минута, две, три... Ученики не выдерживают и, как по команде, падают на колени.

Оленин медленно вынимает из кармана сверкающий белизной платок и проводит им по глазам. Потом говорит странным, как будто дрожащим от слез голосом:

— Дети... вижу. Принимаю ваше покаяние. Значит, юные сердца ва-

ши не покрылись еще корою своеволия и зломыслия. Торжественно, как отец, обещаю быть заступником вашим у царя...

Страшное слово вымолвлено. Так это правда — весть о «бунте» уже долетела до дворца.

Прерывающийся голос продолжал:

— Встаньте. Я вас прощаю. Требую лишь одного: подойдите сюда все, кто чувствует себя зачинщиком.

Ученики мнутя, перешептываются:

— Иди, Степанов!..

— Сам иди...

— Да все мы зачинщики.

— Идите сюда те, кто сумеет толковее рассказать, как было дело, с чего у вас началось и на что вы обижались, — призывает Оленин, и голос его кажется отечески-добрым.

Ученики выталкивают вперед троих. Это совсем не зачинщики, но они лучше других отвечают на уроках. Один, по фамилии Тверской, славится даже как декламатор. Выборные расскажут всё по порядку, опишут жестокое обращение с ними некоторых учителей и инспектора, попросят президента убрать из академии мучителей. Им, конечно, поверят: они ведь ни в чем никогда не были замечены, поведение их образцовое.

— Ну начинайте, дети, — говорит ободряюще Оленин. — Говорите всё без утайки, иначе я не смогу помочь вам.

И они рассказывают все по правде, дополняя друг друга в описании всех горестей академической жизни, всех печалей ее внутреннего распорядка. И кончают просьбой:

— Избавьте нас, ваше высокопревосходительство, от инспектора и тех, кто нас обижает. Верните Головачевского. Он стар, но мы будем его слушаться — даем честное слово за всех...

Президент довольно кивает головой:

— Очень, очень хорошо, дети. Теперь последует небольшое наказание виновных, и вас отпустят на каникулы.

На заре следующего дня сторож Анисим стоял у скамейки в нижней проходной зале, вблизи столовой, а подле в ведре мокли розги. Вокруг собралось начальство: и ненавистный инспектор, и его помощник Муков, и гувернеры. Привели «виновных», но, почему именно этих, никто из учеников не понимал.

Впереди стоял Нотбек.

— Спускай штаны! — скомандовал Анисим.

Нотбек повиновался. Ни один мускул не дрогнул на его мертвенно-бледном лице. Он покорно лег на скамейку, и мокрые розги со свистом взвизгивали над ним.

Его сняли уже без чувств. Унижение оказалось сильнее боли — у него не хватило сил.

За ним последовали по очереди: Тверской, Слезенцев и Каракалпак.

Высекли, конечно, и Александрова, и всех пятерых навсегда исключили из академии. Степанов каким-то чудом спасся.

Наедине с собой Оленин обсуждал происшествие так:

«Они все многом правы, эти мальчишки. Но не им насаждать порядки. Инспектора следует, конечно, уволить, раз он не сумел взять бразды правления в руки. Академия нуждается в серьезнейшей чистке. А до начала осенних занятий времени для этого достаточно».

Короткими вечерами и белыми ночами, не зажигая огня, президент сочинял подробнейший список придуманных им нововведений.

«В чем же главная причина злокозненных нравов? — спрашивал он себя и находил один и тот же неизменный ответ: — Зло происходит, по мнению князя Александра Николаевича Голицына, монаршею волею нынешнего министра народного просвещения, с коим мнением совпадает и мое личное, главным образом, оттого, что в толпу академических стен пробилась кре-пост-ны-е! Да-с, крепостные!»

6

«НА НАТУРЕ»

До Острова ехали на извозничьих лошадях, нанятых Лучаниновым, потом взяли парную упряжку. Тряслись, придерживая ящики с красками и чмодапы, уложенные в ногах. Бричка с рогожным верхом поминутно подскакивала на ухабах и колдобинах — того и гляди, растеряешь поклажу.

Почесав в затылке, возница обычно горестно приговаривал:

— Эх, угораздило! Но-о, вывози, соко-о-лики!..

«Соколики» безнадежно топтались на месте, униженные слепнями, и по крупам их стекал пот.

Тогда ямщик слезал с козел и, не торопясь, принимался сам вытаскивать колеса из жидкой грязи.

— Чтoб вас разорвало, дьяволы, а не кони. Этакая оказия! Подсобили бы, господа честные.

Ямщики менялись на каждой почтовой станции. Все они были почти в одинаковых заплатанных кафтанях; лошади шершавые, с клоками не слинявшей еще с зимы шерсти; ветхая, часто веревочная сбруя. Ехали шагом.

Стали надоедать остановки на постоянных дворах с огромными нечищенными самоварами, с развешанными по стенам портретами генералов и архиереев, с картинами «страшного суда», с клопами, блохами, тараканами и назойливым писком комариных роев с вечера до утра.

Лучанинов, душа поездки, спрашивал последнего ямщика:

— А далеко ль, братец, до Петровского? Дорога ваша все кости разломилла.

— До Петровского-то? Почитай, еще верст тридцать немереных. А до-

рога ничего. Вот ужотко осенью этим самым проселком верхами только и проедешь.

Для последнего ночлега на опушке леса выпрягли лошадей и устроились у большого луга.

Было росисто. Пахло пряным запахом моха и молодых елок со светлыми бусинками новых смолистых побегов. Острой струей врывался аромат ландыша. Куковала кукушка. Можно было бы ехать еще верст пять, но лошади сильно заморились. Дорвавшись до ручья под горою, они жадно пили.

Разложили костер. В его свете лица лежащих на траве художников казались бледными. Лучанинов спросил:

— Да ты Петровское-то хорошо ли знаешь, дядя?

— Как не знать? Мы, ямщики, езжали туда, как старый барин еще был жив. При нем по-господски там жили, а ныне — не то.

— Как это — не то?

— Алексей Петрович Елагин — барин чудной. Ни женится, ни холостым не живет. В пух и прах все имение пошло. И под началом теперь у экономки. Была она Параня, а стала Прасковья Даниловна. А угодьев во все немного осталось. А прежде он молодец был и богат. И-их, до чего богат!

Ямщик восторженно улыбнулся:

— Я еще парнем был. И коней имел лихих. Барин Алексей Петрович придет, скажем это, в Остров, свою тройку отошлет домой, а меня требует: «Подать мне Семена!» Из себя он орел, в форме с апалетами, усы крутит, глазами черными водит... Вина возьмет с собой из гостиницы и гнать лошадей велит во весь дух. А коляска — своя. Лошадей замучает, зато на чай не поскупится: иной раз, как пьяный, и целковый даст. Ох, было времечко!

Стреноженные лошади бродили по лугу, и трава мерно похрустывала у них на зубах. Неожиданно Лучанинов заорал:

— О-го-го-го-го!

Художники вздрогнули.

— Господи Иисусе! — отодвинулся ямщик.

— Чего ты, оголтелый? — спросил Тихонов. — Испугал до смерти.

— Мне и надо было испугать. Смотри, смотри! Эх она шарахнулась. А вон та голову как закинула. Поза-то как раз для моей баталической картины. Чего лучше: ноздри раздуваются, а глаза — пламень!

Подсев ближе к огню, он торопливо набросал в альбом контуры лошадей.

— Небольшая зарисовочка для памяти, а развить можно будет после. А ночь-то, ночь, братцы, совсем голубая!

Сергей невольно позавидовал приятелю. Не теряет времени даром. А где взять вдохновляющую натуру для «Геркулеса»? Как оживить мифологический сюжет заданной программы?

В наступившей тишине снова завел свою скрипучую музыку коростель. Потом, покрывая его однообразное кряканье, залился в ветвях цветущей рябины соловей.

Трещали сучья костра, вспыхивало и замирало пламя; валились в огонь мелкие головешки. Ямщик пек в золе картошку.

— Дай попробовать, — попросил Сергей.

И разом вспомнился милый голос:

«Как я завидовала мальчикам... Сидят у костра и пекут картошку. Этого я не могла себе позволить».

Машенька! Как близка она его душе!

А кто остался у него из родни? Никого. Отца, кузнеца, он даже не помнил. Мать, дворовую Благово, ездил хоронить сам. Золотошвея была. Умерла в Москве, вышивая для господ до последнего дня. Из Москвы Сергей проехал в деревню. Встретили там, как чужого. Двоюродные сестры над ним посмеивались, передразнивая его городскую речь. Но, когда он пошел на луг и взялся за косу, все точно изменилось. Размах его был силен, трава ложилась широко и ровно. Видно, прежняя сноровка не забылась.

«Не ударил Сергей лицом в грязь, хотя руки и стали белые», — говорили старшие.

Он чувствовал тогда, что душа его точно раздваивается: страстно любя Петербург, привыкнув к укладу столичного города, он всем существом тянулся к родной деревне.

Сергей одинок, как оба его товарища. У всех троих — никого в целом мире. Оттого, может, и сдружились.

Опираясь на локти и обжигаясь, ели рассыпчатую прошлогоднюю картошку. По дороге протарахтела запоздавшая телега. Заржали лошади. Им ответило из-за речки далекое ржание. Вспыхнувшей искрой там блеснула огонек.

— Мальчишки в ночном балуются, — вяло заметил ямщик. — Головки кидают. Как бы чего не подожгли. Много лесов горит об эту пору, особенно, ежели засуха. А то, пожалуй, цыгане.

— Где цыгане? — встрепенулся Сергей.

— Да вон за теми кустами, на другом лугу, у ракитника. Своей волей некошеное травят.

Сергей поднялся и пошел от костра.

— Ты куда, барин?

— Хочу цыган посмотреть.

— Береги деньги, выманят.

— Выманивать-то нечего.

— И я с тобою, Сережа, — сказал Тихонов.

Зашагали рядом. Из-за кустов скоро донеслась гортанная речь и посвист. Молодые цыгане стреноживали лошадей. Кто-то сердито бранился по-цыгански.

Подошли ближе. На красноватом фоне костров все яснее и яснее обозначались фигуры. Над котелком у первого огня копошилась старуха. За ее спиной показались лохматые головы цыганят. Они с любопытством рассматривали подходивших. Старуха начала пронзительно кланяться:

— Дай, барин хороший, денежку! Позолоти, соколик! Я тебе судьбу счастливую наворожу. Будет у тебя раскрасавица жена, глазки заграничные...

Цыганята подскочили к художникам, толкая друг друга и крича, какстая галчат.

— Цыц! — прикрикнула на детей молодая цыганка с грудным ребенком на руках.

Старуха накинулась на нее с упреками, называя Аннушкой.

Сергей взглянул на молодую женщину. Смуглое, красивое лицо с едва заметными рябинками. В больших черных глазах — печаль, ласка и дума. Сергей сел подле. Прижимая к себе ребенка, она сказала спокойно, как заученную фразу:

— Хочешь, барин, спою песню?

— Спой! — обрадовался предложению Сергей.

Она ответила приветливой улыбкой и запела низким задушевым голосом:

Отойди, не гляди.

Скройся с глаз ты моих...

Сергей подхватил:

Денег нет у меня,
Один крест на груди!

Ему стало вдруг особенно радостно. Да, денег у него мало. Но Машенька любит его. Машенька! Светлая, непохожая на других! Такая ясная, правдивая.

Перед отъездом Сергей успел забежать к Федору Петровичу Толстому попрощаться. Машенька тоже уезжала в деревню.

Кончив петь, Аннушка спросила:

— Чего смеешься, барин?

— Жить хорошо!

Старуха учила:

— Проси барина, пусть позолотит за песню.

Сергей хохотал:

Денег нет у меня,
Один крест на груди!

Художники бросили несколько медных монет детям. Старуха проворчала, что в Москве у Яра хорошие господа хор одаривали золотыми, а красивым цыганкам подносили брильянтовые сережки.

— Нет у бариночков денег, — остановила ее Аннушка, — не видишь, что ли? Не слушай ее, барин пригожий. У тебя у самого голос — цены нет. Ты бы у нас, в таборе, запевай был.

Сергей дружески кивнул ей и обратился к приятелю:

— Миша, ты что?



Сергей сел рядом с молодой цыганкой. Прижимая к себе ребенка, она сказала спокойно, как заученную фразу:
— Хочешь, барин, спою песню?

Тихонов схватил его за руку.

— Вот что я ищу! Свет и тени. И контуры... Блики... Смотри — где же здесь тонкие переходы? Они все как вылеплены. Я запомню это! Непременно запомню!..

Волнуясь, он стал, как всегда, заикаться.

— Я тоже правду ищу, — подхватил Сергей, — правду и радость жизни. Видишь, она вот и здесь, эта радость. Я тоже запомню. Они такие, будто их родила сама земля, вместе с зелеными почками. Они — от земли. Смотри: Аннушка-красавица смеется. Смех-то какой! А голос — бархат. Постой! Я не умею выразить... Всюду, где жизнь и правда, там и красота. А нас все еще одними богинями в академии пичкают. Одними классическими образами. А я хочу писать жизнь, природу. Как ты думаешь, рассердился бы профессор Егоров, если бы я вместо Геркулеса написал вон того лохматого старика? Или привез бы в академию такую картину: костер и их — этих черномазых мальчишек? Может, плеваться бы стал?

Тихонов улыбнулся:

— Может, и плевался бы. В академии одно только «возвышенное» до сих пор ценят.

— Антики?

— Антики. А ты вдруг — черномазых!

Оба рассмеялись.

— Пора ехать, однако, — вспомнил Сергей, — а не хочется... Прощай. Аннушка!

— Прощай, барин, — мягко отозвалась цыганка, укачивая расплакавшегося ребенка.

Снова ввязалась старуха:

— Возьми корешок на счастье.

— У меня счастья и так через край! — весело бросил Сергей. — А тебя, Аннушка, я унесу в своем сердце и по памяти нарисую. Прощай! Может, когда и встретимся.

И, как вызов жизни, он пропел во весь голос:

Денег нет у меня,
Один крест на груди!

Когда товарищи вернулись, Лучанинов спал, повернувшись к огню.

— Запрягать бы, бариночки, пора. По холодку поедem, а то слепни жрут скотину, всю спину у лошадей раскровянили, проклятые.

Завидев барскую усадьбу, ямщик стал настегивать лошадей. Задрав хвосты, они лихо влетели в березовую аллею, ведущую к подъезду.

— Но-о! Милые! Но-о-о, орлы!

Подъезд был закрыт. Ни на зов, ни на стук никто не появлялся. Ямщик почесал в затылке:

— Прасковья Даниловна сама завсегда открывает, а тут, видно, кур с барином кормит, вот и не слышит.

Он привязал лошадей к одной из берез и стал выгружать несложный багаж седоков.

Лучанинов полез в карман за кошельком.

— А вы не торопитесь, ваша милость. Здесь нашего брата, ямщика, потчуют. Такое старинное заведение: и сыт, и пьян, и нос в табаке. Напрасно вы колокольца отвязал — надоели звоном, — все бы кто из слуг вышел. А вы пожалуйте туда — вон в калиточку. Направо калитка — в сад, а налево — во двор. Там он, барин, верно, и есть.

Двор обсажен стриженным ельником и кустами желтой акации. Еще издали слышится: «Цып-цып-цып!» Женскому певучему голосу вторит октавой ниже мужской: «Цып-цып-цып...»

За кустами художники увидели множество домашней птицы. На песке точно раскинулся разноцветный ковер. В солнечных лучах переливалось черное, белое, рыжее и пестрое оперение птиц. Султаны петушиных хвостов отливали бронзою. Индюки распускали свои веера и, сердито захлебываясь, потрясали сине-багровыми бородами. Утки кричали. Гуси шипели. Малоголовые, все в крапинках серые цесарки, семена тонкими ногами, подбегали к площадкам с водой и, смешно закидываясь, пили. Поднявшись на собачью будку, пронзительно кричал павлин, а хвост его свисал до земли великолепным шлейфом в сине-зеленых и золотистых узорах.

Широко расставив ноги, посреди птичьей стаи стоял человек лет тридцати пяти, в военной фуражке, сдвинутой на затылок, в расстегнутом чехмене. Рядом, с решето, полным зерна, к птицам склонилась молодая полная женщина, с румяным круглым лицом и большими добрыми глазами. Неторопливыми движениями она бросала корм. Полуторагодовалый мальчик в одной рубашонке, уцепившись за капот матери, заливался громким смехом каждый раз, когда куры, толкая друг друга, бросались к зернам. Поодаль старуха кормила в корытах гусей и уток.

Отставной военный кричал:

— Гони ее, шельму бесхвостую, гони! От нее, лентяйки, ни одного яйца не дождешься. Ты бы ее, Паранюшка, велела зарезать. Смотри, смотри, что Сашка делает: длинношеего гусака поймать хочет.

Прасковья Даниловна с беспокойством обняла ребенка:

— Ты, Сашенька, от гусака сторонись, зашиплет.

Лукаво играя смысленными глазами, мальчик пошел прямо на шипевшего гуся. Отец перехватил его и подкинул в воздух.

— Он у нас с тобою, Параня, будет храбрым воякою! Он будет как генералиссимус Суворов. Будешь, Сашка?

Неожиданно заметив художников, он поставил мальчика на землю и расплылся в улыбке:

— Кажется, дорогие гости? И ямщик знакомый. Иван Васильевич, российский Рафаэль или там Рубенс? Вот приятная новость! И с товарищами! Добро пожаловать, друзья мои! Какую мы охоту теперь вчетвером устроим! Знаменитую Ледьку, суку мою, натаскал — чутье дьявольское. Порода немецкой, искусственной: кон-ти-нен-таль-ная легавая. И по зайцу и по птице ходит, ей-богу!

Опомнившись, он благодушно заметил:

— Что же это я?.. Прошу дорогих гостей в дом. Вот моя Параня, добрейшая душа. Эй, Ванюшка, где ты там запропастился, малый? Бери у гостей всякие там баулы да веди их пока в угловую комнату. Только там, поди, пыль — не прибрали с тех пор, как у меня из Новоржева становой гостил. Параня у меня с людей мало взыскивает, все больше сама.

Радуюсь, что есть с кем поговорить, он сыпал словами, не давая гостям прийти в себя.

— Сейчас моя хозяйюшка со своим птичьим царством управится и всех вас накормит и обо всем позаботится: печенье-варенье, маринады всякие. Сию минуточку! Я вам чрезвычайно рад. А ты, любезный, — обратился он к ямщику, — ступай в застольную. Знаешь, чай, где застольная. Там тебя накормят и чарочку поднесут.

7

В ПЕТРОВСКОМ

Они жили в Петровском уже третью неделю и освоились с его укладом. На заре ходили с хозяином на охоту и сразу же убедились, что Ледька, хоть и «континентальная», но бестолковая. А дичи хоть и немало в лесу и на болотах, но ее «трудно добыть — горазд она пуганая», по словам хозяйского егеря. Кто ее пугал, неизвестно, но поговорку неумелого охотника из елагинской дворни принимали на веру.

Сергей успел уже написать портрет Прасковьи Даниловны и принялся за изображение «наследника» — маленького Саши. Это оказалось не так-то легко. Мальчуган ни за что не хотел сидеть. Он вертелся, поминутно соскакивал со стула, без умолку болтал на своем непонятном языке и все старался залезть в ящик с красками.

Прасковья Даниловна смеялась, вытирая замазанные красками щеки сына:

— Ах, разбойник! Углядишь ли за ним?

Елагин придумывал, чем бы подольше удержать у себя гостей. Он даже играл им на скрипке. Сначала, правда, стеснялся и играл на рассвете. Из-под спущенных жалюзи вырывались звуки, полные тоски и жалоб.

Прасковья Даниловна, прохсдя по двору, говорила, увидав кого-нибудь из слушающих художников:

— Играет мей Алексей Петрович. Душа запечалится, вот и играет. И чего ему тосковать? Чего не хватает? Кажись, всего довольно, а тоскует. «Ангельскими вздохами» скрипку называет.

Привыкнув к гостям, Елагин иногда звал их послушать «ангельские вздохи». Приходил он и позировать. Сидел терпеливо, стараясь принять гордую позу. И было ему удивительно, почему Сергей хочет написать его в домашнем чекмене, с длинной трубкой, а не в «параде».

— Ты, друг, изобрази меня так, чтобы всем ясно стало: вот будущий фельдмаршал. И потомкам будет лестно. Я целый день кавалергард-

ский мундир выбирал, какой получше. А Параня начищала эполеты. Те самые, в коиx я перед государем на коне моем Туртукае гарцевал. А ты — чекмень!

— Да вы в нем проще, милее, Алексей Петрович! А в эполетах, в мундире — как чужой. И доброты той нет.

— Доброты нет? — обиделся Елагин. — Спроси у людей, тронул ли я кого пальцем? Солдаты «отцом-командиром» называли. Да ежели холопку до себя возвысил и люблю всем сердцем, еще ли я не прост? К венцу ее, правда, не повел, так только из уважения к родне. А поведу к венцу, непременно поведу, дай только помереть моей тетушке. Не хочу скандала. Тетушка ведь — на дыбы: оконфузил весь род столбовой дворянин Елагин. Закричит, заплачет, а я наипаче смерти бсюсь женских слез. Целая дивизия неприятеля для меня не так страшна, как причитания тетушки: «Ах, Алексис, какой позор! Холопку возвел в дворянское звание!» Я и Сашку выведу в люди всенепременно. Посмотрю, к чему будут у него способности и охота. На птичьем дворе сынишку не оставлю, — шалишь, тетушка!.. А ты, друг, хочешь меня увековечить в чекмене. Еще ли не новая досада для рода Елагиных?

Сергей, смеясь, обещал:

— Вот кончу вас в чекмене, обязательно напишу важным-преважным, в мундире и в эполетах, специально для тетушки.

— А все-таки... зачем понадобился тебе мой чекмень, умник?

— Хочу изобразить вас таким, какой вы на самом деле, без прикрас, по правде, как в жизни. Каким вас любят в Петровском и все, с кем судьба вас сводит. Душу вашу хочу изобразить, а не эполеты. Правду я ищу, Алексей Петрович!

— Эх, друг, какое слово вымолвил: «правду»! Да где она? Потвоему, из-за этой самой правды ты мне и Сашку с соплями под носом изобразишь? И в ландшафте на первое место навозную кучу посадишь?

— Да нет же, нет, Алексей Петрович, это все не то вы говорите! Правду и красоту жизни, радость ее, не повседневные отбросы... Милый вы наш хозяин, Алексей Петрович! Как в первый раз я вас увидел, сразу и полюбил. Поймите! Стоите вы, улыбаетесь, солнце светит, а кругом — птицы...

— Уж не с ними ли ты хочешь меня рисовать? — замахал руками Елагин. — Помилуй бог, осрамишь. Отставной кавалергардский офицер, и вдруг... с петухом или индюком. С павлином и то, пожалуй, нехорошо.

Сергей залился звонким смехом.

— Дураком меня еще никто не считал, а ты, Сережа, этакой пустяковины — о чекмене, о птицах — растолковать мне не можешь.

— Ну как мне объяснить правду в искусстве? Я в столице уже успел много портретов написать. И всегда старался показать в них то, что составляет в человеке его сущность.

— Сущ-ность? — протянул Елагин недоуменно. — В толк не возьму.

— Самое главное.

— Самое главное? В полку меня считали исполнительным и храбрым офицером, хорошим товарищем.

— Вот тут-то и есть ваша сущность: хороший, добрый товарищ. Доброта — ваша сущность, милый Алексей Петрович. И когда на дворе вы подбрасывали на воздух Сашу, боже мой, как светились ваши глаза добротой и любовью. Вот таким-то и хотелось вас изобразить.

Елагин даже привскочил:

— Да побойся бога, голубчик! С ребенком на руках? Да после этого я стану посмешищем всего уезда... Что уезда — всей губернии! Дворянство меня заклянет. А тетушка проклянет... Ох, в чекмене, с Сашкою, с индюком. Прошу покорно!..

Из угловой друзья давно перекечевали на ночлег в сенной сарай. На сене так хорошо спалось, так освежающе продувало из щелей, так весело пробивались сквозь них красноватые лучи зари! Радовал своеобразный мир: полевые мыши высовывали узенькие мордочки с умными быстрыми бусинами глаз, шуршали в углу сухими стеблями. Ласточки черными стрелками металась к висящим над головой гнездам. Курлыкали на крыше голуби. Порою какая-то птичка-невеличка, трясая серым хвостиком, усаживалась на пороге, вертела головкой и недоуменно осматривалась.

Ночью Сергей лежал против раскрытой двери и глядел в широкий квадрат, где серебрилась в паутине набегавших облаков луна. Лето кончалось. Но это — ничего. С осенними тучами, в сентябре, придет новая жизнь. Дождем прольется счастье: медаль и путешествие в страну, где каждый камень говорит о великом искусстве... Италия! Рим! Флоренция!.. Он уже не будет носить позорную кличку «раба», «холопа», «крепостного». Академия распахнет перед ним вход в свободный мир, даст равноправие. Ведь с аттестатом он получит права свободного гражданина. Тогда он поедет на родину, чтобы взглянуть на места, где бегал мальчиком, отыскать родных, которые, может быть, нуждаются в его помощи, просить за них бывших своих господ... Голова кружилась от мечтаний.

Да, там, в калужском имении Благово, сейчас так же пахнет сеном и так же, меж легких облаков, плывет луна. Какая ночь! Вон, во всю ширь синего бархата неба, раскинулась Большая Медведица. Тонкой, едва заметной россыпью намечается Млечный Путь. Издалека доносится ржание лошади. Лениво тявкнула собака. Ледька, что ли? Потом раздался однообразный звон косы, лязгающей о точило. Сергею представилась знакомая картина: размашистый взлет косы — и трава ровной грядой падает под блестящим лезвием. Утренний ветер надувает мужички разноцветные рубахи. Через лапти от росы знобит ноги... Все это было когда-то таким привычным, повседневным. Но ему уже не вернуться к этому.

Вспомнилась и неоконченная картина в академии. Фигура Геркулеса, правда, почти готова, осталось только лицо. В суетливом и беспокойном городе трудно было найти необходимое для него выражение: радости и глубокого, невозмутимого покоя. Но Омфала, возле чьей пряхки отдыхает гигант Геркулес... Он писал ее с дочери дворника, худенькой швеи. На ней —

белая туника, подпоясанная простым пояском. Длинные пряди волос гармонически сливаются с куделью пряжи. Но лицо никуда не годится. Какая же это античная модель — курносенькая русская девочка?.. Сергей поймал себя: он точно «процеживал» в воображении классические фигуры неподвижных гипсовых Минерв, Венер и Психей, заполнявших один из залов академии. Сквозь условные академические формы рвались наружу живые черты. Сергея тянуло к согретым горячей кровью образам, с характерными чертами, со сменой настроений, желаний, порывов.

Он подумал и улыбнулся:

«Что богиня Минерва гневается, представить можно, но что баюкает, например, ребенка — трудновато...»

И вздрогнул от радостного предчувствия. Кто это с живым, тонким, полудетским лицом настойчиво прорывается в его душе сквозь изученные шаблоны «антиков»? Конечно, она — Машенька, любимая девушка, с радостным блеском глаз и одухотворенной лучезарной улыбкой! Он видит ее всегда ясно и не посадит другой Омфалы возле своего Геркулеса.

— Сережа, ты спишь? — слышится голос Тихонова.

Поляков поднял голову. Миша сидел, скорчившись, маленький, щуплый, взъерошенный.

— Я вот все думаю: что, если я не кончу свою картину, не успею? У меня — одни искания. И написал я здесь мало. Все бродил, смотрел, пробоval, а написал мало.

Лучанинов заворочался в своем углу:

— Спать не даете с вашими «исканиями»! Какие там, братцы, искания, когда луна светит во всю ивановскую? Бросьте мудрить. Нужна натура, а она — кругом. Сколько я лошадей успел за это время зарисовать!

— Да ты, Иван Васильевич, погоди, не гуди своим басом, а выслушай, — мягко перебил Тихонов. — Ты говоришь про натуру. Верно! Но мы-то, ее изобразители, мы-то — живые ведь. Мы творцы, а не машины, слепо воспроизводящие натуру. Ты вот видишь, скажем, перья у петуха двух-трех цветов. А я, может, вижу в них целую гамму. Вижу ин-ное, с-сво-ое...

Когда Тихонов начинал горячиться, он поминутно заикался и нервно вздрагивал.

— Стой, Мишка! Уж не думаешь ли ты писать своего Сильвестра с тридцатью пальцами, с четырьмя ногами? Может, тебе так кажется, может, в глазах у тебя двоится?

— Не смейся... — В голосе Тихонова прозвучала боль. — Это вовсе не смешно. Мучительно это! Искать и, может быть, никогда не найти желанной истины. Вот, например, флейс¹, работа с ним. После него картина теряет общее впечатление. Отдельно, скажем, рука или нога, складка одежды. Как будто и хорошо, а в общем... И нигде я не нахожу...

— Чего? — заревел Лучанинов. — Рецепта? Нет такого, понимаешь, нет еще, не придумали!

¹ Флейс — широкая мягкая колонковая кисть для смягчения (стусывания) написанного грубыми щетинными кистями.

Совсем близко залаяла собака. Сергей засмеялся:

— Всех собак переполошил, ну и голосище!

Послышались шаги, и у входа выросла высокая, с кавалерийской выправкой фигура Елагина. Он был в рыжей охотничьей куртке и с полным ягдташем. У ног змеюю вилась коричневая Ледька.

— Удивил братию? — молодцевато выкрикнул Алексей Петрович. — На болото было собрался, уток там — видимо-невидимо, да рано. Шут знает луну-проказницу! От нее моей Паранюшке тсже не спится. Уж завешивала, завешивала окна, а она, глазастая, в щели да по полу скользит, точно тебе танцует... Я на охоту поднялся, а Параня, по старой привычке, конфузии не боясь, босиком пошла меня провожать по росе к леднику за сливками. А вот какие мои «сливки»!

Он вынул из ягдташа бутылку мадеры и стаканчики.

— Давайте по-братски. И закусочка найдется. Луна нам фонарем будет. Чокнемся, молодая компания, завьем горе веревочкой.

— Да какое же у вас горе, Алексей Петрович? — спросил Лучанинов, беря из рук помещика вино.

— У всякого свое, друг. Ты вот вчера тужил, что тебе каких-то особенных, средневековых, коней надо для твоих исторических картин. Ты над лошадиным хвостом и копытами плачешь, а я — над всей жизнью.

Он опрокинул в рот стаканчик и, опершись локтем о сено, с горечью продолжал:

— Все было: и балы, и марши, и походы, и чины, и солдаты, и генералы, и царь... А осталась Параня и Ледька, куры да Сашка...

Он снова налил всем.

— Была столица. Были эполеты. Был смех и шутка над мещанкой в старомодной робе, над толстоногой купчихой и над чванливой дворянкой со шлейфом и веером. Смеялся, как у старых дур с носов пудра сыпалась и на солнышке восковые зубы таяли. Как генерала под ручки тащили по зале отплясывать с дамами мазурку. Я был там с ними, со всеми. Пил, боже ты мой, как пил! И играл, и за вдовушками волочился.

Елагин выпивал один за другим стаканчики с золотистой жидкостью. Пустые бутылки отбрасывал в сторону, и они стукались о порог.

— Ты чего же не пьешь, Миша? Ты пей, а то мне скучно одному. Я вас всех люблю. Будто опять с прежними товарищами-офицерами, только картишек недостает. Банчок бы метнуть.

Язык Елагина уже заплетался. У Сергея тоже шумело в голове, но было радостно. Он без причины смеялся. Бледное лицо Тихонова казалось лицом мученика.

— Хлипкая ты пичуга, как я посмотрю, — говорил ему Елагин. — Тебя чуть толкнешь, ты уж и ножки вверх. Один дух в тебе. А я был сильный, подковы гнул, ей-богу. В кузнице у своего кузнеца работал молотом, — силу некуда было девать. Мужики даже ахали. И жизнь была разудалая. Строгость — в строю и на парадах, а на отдыхе — удалство и веселье. И прокутил я, друзья мои, проел наследие родительское. Только одно

Петровское и осталось. Оттого вышел в отставку и засел в деревне, как сын в дупле. Пей, Миша, учись пить. Нельзя так отставать.

— Довольно бы мне, — слабо взмолился Тихонов. Рука его расплескивала вино.

— Крепче спать будешь. Куда тебе вставать с петухами? Здесь, в сарае, ни мушки. Завтрак подадут, когда вздумаете. А у меня с каждым стаканом бывшее вспоминается! — протянул он вдруг особенно тоскливо. — Так защемило сердце... И этим я мучаю Парашеньку. У нас с нею Сашка растет, сын, наследник. Подрастет, в город повезу. В школе товарищи станут дразнить: «Незаконный ты сын!» Он начнет плакать, злиться, а Параша моя... Эх, за что и ей и ему это? За что? — В голосе Елагина слышались слезы. — Вышла бы замуж за своего парня, по плечу сломала бы дубинку. Вот была девушка! Краса деревенская, здоровая, пышная, кровь с молоком. А ныне, как говорится:

Горе, горе,
Муж Григорий.
Хоть бы худенький
Иван,
Он бы волю с меня снял...

А я и воли ей не дал, не то что снял. Воли у нее нет и мужа Ивана тоже нет. Есть один только пьяненький бывший кавалергардский ротмистр Алексей Петрович Елагин. Да ты что это, Миша?.. Смотрите, никак он того...

Тихонов бился в припадке эпилепсии. Лицо его дергалось, глаза закатились. Сергей набросил на него одеяло, закрыв с головою, как, видел, делают в деревне с теми, у кого «родимчик».

— Пить ему никак невозможно, — с трудом ворочая языком, проговорил Лучанинсов.

— Никогда больше не буду, — прошептал Елагин виновато. — Господи, и что это я? Старый кавалерист, мне привычно, а вы — «штафирки», штатские. Вам бы, особенно Мише, одного парного молочка впору... Я сейчас... сейчас за Параней...

Он скоро вернулся с Прасковьей Даниловной.

Она была простоволосая, в ситцевом капоте, босая, — забыла о шали и о туфлях. Пришла бесшумно и ловко подхватила затихшего Михаила под руки, только кивнула Лучанинову: помог бы. Параня привыкла ухаживать за часто пьяненьким Елагиным.

Уложив больного на широкий диван в гостиной, она не отходила от него ни на минуту. А когда Миша открыл глаза, с материнской лаской напевно запричитала:

— Испил бы молочка тепленького! Что птенец ты, смотрю, несмышленик... Вон у тебя и волосы что пух... Да есть ли у тебя, миленок, родная матушка? Пей, пей молочко. А я получше укрою тебя, ишь дрожишь как...

...Миша скоро заснул, и Параня пошла хлопотать по хозяйству. Ушел в конюшню рисовать лошадей и Лучанинов.

Сергей остался дома. Он сел подле мольберта с последним этюдом. Нескольким другим было прислано к стене на скамейке.

Он сидел долго и неподвижно, вглядываясь в работу.

С этюдов смотрели фигуры в античных костюмах. Вот она — Омфала, пока еще без Машенькиного лица. Он ясно представил себе ее милые черты над грациозной фигурой в греческой тунике с пояском. Нет, не то, не то! Не та Машенька! Она будет походить на переодетую в маскарадный костюм.

Как же ему преодолеть условность академических навыков? Как оживить античный сюжет? Где «рецепт» этого? Или, как крикнул сегодня ночью Лучанинов: «Его еще не придумали!»? Значит, искать все там же, в окружающей жизни?..

Но жизнь дает курносую Параню, ее полные губы со свежей улыбкой, простодушный взгляд больших серых глаз навывкате. И другое лицо — в растрепанных черных кудрях, с преждевременными морщинами еще красивого лица, с горькой складкой губ... Целый ряд лиц, вереницу портретов и картин, где люди с сивыми бородами, с натруженными руками и спинами, возле шершавых, заморенных лошадей; лапотницы в сарафанах и с вековечной скорбью-обидой во взгляде; грудные ребятишки, брошенные в корзинах на меже; курные приземистые избы; косовицы на росистой заре; дымки деревенских риг; пригожие девушки с первым снопом в руках... И дорожка всего — светлый образ Машеньки!

Стало невыносимо смотреть на собственные этюды. Точно из древнего саркофага вышли эти две нарочитые фигуры и обвитые традиционным плющом и розами белые колонны, вся однообразная красота, продиктованная холодными, мертвыми правилами.

Что же ему делать, куда идти? Может быть, докончить программу портретной живописи? Может быть, именно в ней больше правды?.. Нет, нет! И не потому, что в академии, при словах «портретный» живописец, высшее начальство делает снисходительную гримасу, ставя высоко только историческую живопись. Что даст ему работа портретиста? И какую раскроет истину? Не те же ли академические формулы — «символы и эмблематика»: ручей надо изображать в виде девы с бледным лицом и распущенными волосами, время — в виде старика с косою. Воин обязательно должен быть в античном шлеме, вельможа — в римской тоге, а царь — в порфире, со скипетром и теми же эмблемами — Минервой и Немезидой, в руках которой «весы правосудия».

Он вспомнил ряд пышных портретов, виденных и на выставках в академии, и в картинных галереях знати, видел всех этих коронованных и некоронованных звездноносцев, помещиков и помещиц. И здесь та же принятая условность позы, заученная манера в расположении складок одежды, заученные улыбки, заученное наложение красок.

И определения заказчиков:

«Сделайте мне портрет под Каравака, на манер его портрета императ-

рицы Елизаветы Петровны... Или под Лагрене, как он писал ту же Елизавету в образе покровительницы искусств, с символами...»

«А мне — под Токке, как он писал княгиню Воронцову, бесподобно...»

«Я обожаю Лампи старшего: его Потемкина и Зубова нельзя забыть!»

И сыплют ряд имен иностранных художников, наводнявших Россию.

А он хочет быть сам собою. Ни под Токке, ни под Лампи, ни под Вуаля, Торелли или Танауэра. Даже не под прекрасного русского Левицкого, тонкого психолога, с его красивым отчетливым мазком, сумевшего перешагнуть через условности своих учителей: француза Лагрене и итальянца Джузеппе Валериани — перспективиста, одного из лучших преподавателей живописи XVIII века.

Он не хочет подражать и другим прославленным русским мастерам: ни изящному, поэтичному Рокотову, с его сдержанной манерой и «тающим» серебрястым колоритом любимых овальных портретов Новосильцевой, Суровцевой, поэтов Сумарокова, Майкова. Ни Боровиковскому, кому свойственна гамма прелестных серо-зеленых, белых и тускло-желтых красок, среди которых он умел так эффектно бросить ярко-желтое или голубое пятно, ласкающее глаз. Ни Кипренскому, современному чародею, причуднику и мечтателю, которым гордится академия, уже давшему ряд изумительных портретов в масле, акварели и карандаше.

А видопись?.. Может быть, она даст творческое удовлетворение? Нет, он хочет заглянуть не в душу ландшафтной природы, а глубоко в душу человека, разгадать трагедию человеческой природы, его извечное стремление к счастью.

Закрыв глаза, Сергей видел, как в тумане его сознания неясно плывут образы виденной им действительности. Его обступают со всех сторон эти русские мужики и бабы. И ярче других выплывает картина: сарай, лунная ночь, заглядывающая в распахнутые двери. На сене — они, художники, и перед ними, со стаканчиком в руке, со сдвинутой на затылок фуражкой, в охотничьей куртке, с залихватским выражением лица, Елагин. Он смотрит широко раскрытыми глазами, полными мучительного вопроса... И между этими несхожими людьми — лихим когда-то гвардейцем, прожегшим впустую жизнь, и только что начавшим жить юношей Мишей Тихоновым, — почудилась какая-то невидимая связь. Связь общей тоски, неудовлетворенности.

Что это? Излом слабой души? Или искание не всем понятной правды?.. Можно ли с таким, например, сюжетом ворваться в строгую, холодно-казенную систему академии?

Сергей не находил ответа.

8

ГРОМ ГРЯНУЛ

Пришел конец отдыху в гостеприимном Петровском. С восстановленными силами, с запасом новых этюдов художники возвращались в начале августа в Петербург.

Извозчик привез Сергея на Васильевский остров. Вот оно — старое милое здание. Чуть брезжил свет, а у фасада, окруженного лесами, уже шла работа: неслась стукотня молотков, окрики маляров.

Сергей заглянул мимоходом в главный подъезд. Его поразила необычный вид лестницы, ее тщательно вымытые ступени, свежеевыкрашенные стены и потолок.

Швейцар, заметив его, сказал:

— Ныне уж не пробиться сюда ни дождю, ни снегу. Чистота и аккуратность во всем. Да что говорить: «дом вести — не бородой трясти», разве мы не понимаем!..

В голосе старика звучала печаль, удивившая Сергея.

Он поспешил домой. На дребезжащий звонок вышла сама Анна Дмитриевна, завязывая на ходу чепец.

Сергей радостно бросился целовать у нее руку.

— Как живете, Анна Дмитриевна? Что нового? Что-то, я вижу, лицо у вас... Здоровы ли все ваши?

— Я-то здорова, что мне делается! Да вот другую неделю одна во всей квартире орудуя. Сама, вот видите, и двери открываю. Анисья у меня ушла, ее новые порядки доняли. Мусор она вынести замешкалась, от президента Якову Андреевичу по сей причине выговор. Новую девушку порядочную, вместо Анисьи, думаете, скоро найдешь? И на Егорушку, на младенца, отец сердится: «Душу, говорит, вытянул плачем». А ребенок весь день животиком мается... Ах, извините, не сбежал бы самовар...

Оставив вещи в передней, Сергей бросился за Анной Дмитриевной в кухню и притащил в столовую кипящий самовар.

— Спасибо вам. Яков Андреевич, сами знаете, любит, чтобы самовар был «с пеной у рта». Садитесь-ка, пейте чай. Небось с дороги проголодались. А я побегу к Егорушке — слышите, опять заплакал.

Яков Андреевич вышел насупленный, с взъерошенными волосами, и крикнул в дверь, куда ушла жена:

— Дала бы ему хорошего шлепка, он бы не капризничал. Здравствуйте, Сережа.

— Здравствуйте, Яков Андреевич. Кому шлепка?

— Да сыну моему. — Он по-прежнему широко улыбнулся. — Мальчонка объелся чем-то, скулит, а она сохнет по нем. На старуху стала похожа. — Он опять нахмурился. — Анисью отпустила, сама все делает. Порядки! Ну и порядки...

— Какие порядки, Яков Андреевич?

— Да вы ступайте сперва с дороги умойтесь, вещи разберите. За чаем поговорим. Слышите: молотки стучат? Вот и порядки. Лакеи у нас в басонах¹ скоро станут ходить. А нас начальство в дугу согнет, тоже на манер лакеев обслуживать заставит.

Сергей быстро пошел к себе в комнату и через несколько минут, свежий от холодной воды, сидел уже за стаканом чаю против Васильева.

¹ Басоны — украшения на одежде: бахрома, кисти, шнуры и пр.

— Ну, славно поработали? Много этюдов привезли?

— Много, Яков Андреевич.

— Небось больше видописью в деревенской глуши занимались? Исторические сюжеты забросили? А вам вашего «Геркулеса» скорее надо кончать, пока каких новых приказов не вышло. Вам не о безрезках с закатами, не о лаптях да овинах надо думать, а о сандалиях да классическом торсе. Геркулеса пишете, а не Авдея!

— Знаю, Яков Андреевич, — я окончу. А вот какие-такие новые поряжки?

— Всего разве у него, Сережа, угадаешь? У Оленина. Он все улыбается и так вежливоенько раскланивается. Такие пошли французские приятности. страсть! Одной рукой гладит, другой — ерошит. И всюду нос свой высокопревосходительный сует. Собирает нас всех беспрестанно, просто замучил собраниями. Часто, впрочем, говорит и дельное: «У вас, говорит, часто фальшь рисуют. Костюмы, к примеру, не поймешь, ассирийские или греческие изображаются. А лошади все — «исторические». У нас теперь и поговорка пошла: «Такие это лошади исто-ри-че-ские!..»

Он засмеялся прежним простодушным смехом:

— Что лошади у нас не живые, а «исторические», это правду говорит вельможа Оленин. Он первый и показал, что на многих картинах наших художников передние ноги лошадей бегут вскачь, а задние — рысью. На то он и меценат-художник, да еще с каким опытом!.. Но где же нам лошадь писать? Ее порой у извозчика разглядываешь, разглядываешь, да кое-как и зарисуешь.

— Правда, Яков Андреевич. Вот и Иван Васильевич Лучанинов о том же горевал.

— Специально будто бы манеж для лошадей обещал построить. Там их будут писать с натуры. И декорации. А потом и «рюсткамеру».

— А это что за штука?

— Да попросту костюмерная палата. Костюмы и оружие обещал пожертвовать из собственной коллекции. А коллекция его, слышно, велика. Для изучения древностей покупает в академию этрусские вазы, картины, гипсовые слепки из Лондона.

— Так это же очень хорошо!..

— А кто сказал, что плохо? Чтобы тепло в академии было, печи переделывать все велел. И форму завел. — Васильев опять нахмурился. — Только хорошее-то, как цыплят, по осени считать надо. Ты его, хорошее это, сперва сдelaй и на деле покажи. Вот хоть бы та же ученическая форма. Иной мо-локосос-ученик вздумает, чтобы форменные петлицы у него, как у военного, блестели, в глаза бросались. И вместо казенного позумента чтобы настоящее золото на них было. И пойдет для того на сторону картинки стряпать, дешевку, безвкусицу... Поет-то Оленин сладко, да весеннюю порку разве забудешь? И исключение молодежи. Кого тогда исключили? Невинных. Сами вы тогда возмущались, да от всей расправы, слава богу, уехали. А мы видели...

Сергей с болью подумал, что в сборах и хлопотах по отъезду в Петров-

ское они, все трое, как-то легкомысленно отнеслись к «бунту» младших товарищей.

Васильев продолжал:

— Может, кто и повесился от этого исключения, разве мы знаем? Нотбека высекли, а у него за всю бытность в академии ни одного проступка не замечено. Александров тоже хоть и пьяница, а талант, и кончал уже. Поговорить бы с человеком надо, может, одумался бы. На золотую медаль ведь теперь бы вышел...

Чтобы спрятать волнение, он закричал вдруг высоким фальцетом:

— Чего вы на меня так уставились, Сережа? Вам все покажется новым в академии. И смеем ли мы осуждать вельможу, у коего ордена на голубой ленте? Кто взыскан министром народного просвещения, князем Голицыным и обласкан при дворе? Монаршею волею поставленную главу академии должно только уважать!

— Я и уважаю, Яков Андреевич, — приглядывался к необычному состоянию хозяина Сергей.

Походив по комнате, Васильев снова сел:

— А вам чего не хватает? На что можете пока жаловаться? Вы вон и сейчас, шутя, копеечку имеете. А скоро придете с аттестатом, при чине, мундире и шпаге. Вы без минутки чиновник четырнадцатого класса.

Оленин доканчивал свой доклад государю.

К докладу и учебному плану академии он приготовился хорошо, разобрав по пунктам еще старый наказ императрицы Екатерины II.

«Первому приему, — говорилось в наказе, — состоять из шестидесяти мальчиков, какого бы звания они ни были, исключая одних крепостных, не имеющих от господ своих увольнения».

Вот оно — золотое слово! Его забыли, закон обошли! Его императорское величество останется довольно докладом.

И рука продолжала выводить на бумаге:

«...Ученики, взятые из крепостного состояния, не имея перед глазами ничего, кроме грубости и бесчинства, заражают своими дурными привычками в классах товарищей и через то препятствуют родителям, кои пекутся о детях своих и воспитывают их в строгих правилах, отдавать своих детей в академию, несмотря на их способности к искусствам».

Вот оно — зло!.. Истинная язва вверенного моим трудам и заботам учреждения. Таково единодушное мнение государя, министра и мое личное. Пора, наконец, положить этому беззаконию предел!..

Он переменял гусиное перо и продолжал выводить твердой, решительной рукой:

«Какому бы помещику ни принадлежал, кровь одна, воспитание одно: холопское».

Оленин удовлетворенно просушил написанное.

«Сим строгим средством я водворю в академическом воспитательном училище тишину и порядок».

...В академии — суматоха. Все перевернулось вверх дном. Кабинеты брошены. Старшие ученики, сбившись в кучу и перебывая друг друга, обсуждают новое распоряжение:

— Ты разве тоже попал в список?

— А хоть бы и не попал, кто за меня может платить триста, а то еще и триста шестьдесят рублей в год? Ты что же, прозевал это новшество? Плати, плати за учение!

Новый наказ, составленный президентом, подписанный министром народного просвещения и скрепленный подписью Александра I, был уже несколько дней известен в академии. Но ученики все еще недоумевали и на что-то надеялись. Они бродили по залам и коридорам, забыв о работе, хотя приближался сентябрь с обычным годовым экзаменом.

— Ты что же это, Костин, зря лясы точишь? — говорил товарищу Карл Брюлло. — И вы тоже, два неизменных дружка — Хлобыстаев и Пусто-войтов? Ведь экзамен на носу!

Все трое — крепостные. Участь их решена. Неужели Карл не понимает, не видит? Они все равно не кончат академию, хоть и на хорошем счету. Картины их сиротливо стоят на мольбертах и напрасно ждут последних мазков.

Где-то в далеких имениях или за границей живут их владельцы. И если бы даже они согласились дать им вольную, то сколько пройдет времени, прежде чем кончатся необходимые по существующему закону формальности?.. Есть, впрочем, и счастливицы. Например, один из учеников — Демидов. За него, правда, отказалась платить владелица княгиня Волконская, но брат крепостного — любимый егерь ее мужа, министра двора, — был у Оленина. Он выручил брата, собрав последние кровные деньги на его выкуп из крепостного состояния и триста шестьдесят рублей — плату за учение.

Судьба крепостных затронула всю академию, вплоть до служителей.

Старый швейцар сочувственно качал головой. Что-то бубнил себе под нос и Матвей Пыляев, угощая увольняемых пирогами, стащенными на кухне.

Тревога за товарищей из «подлого сословия» волновала учеников и мешала им работать.

Один Карл Брюлло продолжал уговаривать:

— Что бы ни было дальше, братцы, а закончить свои работы, и закончить их как можно лучше, вам необходимо!

И голова его в рыжеватых кудрях снова склонялась над картоном. Возле вертелся постоянный «адъютант» Брюлло, лохматый, неряшливый Яненко, и поминутно припевал сладчайшим голосом:

— Хорошо так говорить тебе, Карлуша. Ты гений... Непостижимый гений!..

Иордана возмущала грубая лесть.

— Карлу все как с гуся вода! В пятидесятый раз рисует Меркурия. На лице спокойствие Зевса, хотя в душе, я знаю, тоже буря.

Чтобы немного развлечь товарищей, он принимал важную позу и, стуча костяшками пальцев по подоконнику, начинал, подражая Оленину:

— Я президент. И пекусь о вас, как отец. Почему вы, милые дети, избегаете посвятить себя скульптуре? Скульптура — великое искусство. Слышали ли вы, как в 1290 году один благочестивый и талантливый ваятель Италии, имя которого, к сожалению, затерялось в веках, хотел принять участие в украшении храма в Орвиэто? Но, передвигаясь пешком, как и следует паломнику, он пришел к постройке, когда она была уже закончена. Что же оставалось ему делать? Он, милые дети, решил высечь из камня фигуру святого. Но... у него не оказалось даже байка¹. И достойный художник вдохновенно создал великое произведение, взяв у простого каменщика кирку. Он работал в посте и молитве, питаясь только хлебом и оливами... А вы, дети, не хотите идти по стопам этого великого ваятеля.

Мало кто рассмеялся на обычную шутку.

— Видали, — спросил неожиданно Хлобыстаев, — Ступин Александр Васильевич прошел только что по коридору? Из Арзамаса приехал просить, должно быть, его высокопревосходительство президента, чтобы не выгоняли сына за поведение. А у сына его — орясины Рафаилушки — давно опухла рожа от пьянства. Тоже — отцовское утешенье!..

По коридору тяжелым шагом, с уныло опущенной головой, проходил черноволосый, похожий на грека человек.

— Хорошо, что пятнадцать лет назад, когда кончал сам Ступин, в академии не было Оленина, — хмуро буркнул Пустовойтов. — Не зная бы нам теперешней ступинской школы на его родине, в Арзамасе! А сколько, говорят, у него талантливых учеников!

Хлобыстаев пророчески подхватил:

— Помяните, прославят Россию крепостные!

— А чего, рассказывают, не перенес Ступин, когда учился в академии и жил у ректора Акимова! Обслуживал весь его дом, бедняга!

— Я-то знаю хорошо, — снова перебил Хлобыстаев, — сам сбежал от него к чертовой бабушке. Ступин же, говорили, все белье акимовское, бывало, переполощет на Неве в лютую стужу. Руки-то как бы мог застудить! Светло бы, точно у старой прачки. Вот и рисуй после этого!.. А он работает, а сам каждое ректорское слово об искусстве запоминает. За то и вошел к Акимову в любовь, а после и к Егорову. А вот я, — безнадежно вздохнул Хлобыстаев, — и от Акимова сбежал, и к Егорову в любовь до сих пор не вошел. Следовательно, мне — прощай академия!

Крепостным ученикам было официально объявлено об их увольнении.

Тихонов с Лучаниновым побежали искать Сергея Полякова. Тот забился куда-то в угол и не показывался.

По дороге Тихонова перехватил служитель: художника требовал к себе Оленин.

¹ Байók — стальной инструмент для высечения из мрамора статуй.



Крепостным ученикам было официально объявлено об их увольнении.

— Ну, а ты-то, Миша, чего бледнеешь? — старался успокоить товарища Лучанинов. — Вольную ты уже два года как получил. Тебе-то чего бояться превосходительного?

Но Тихонов еле смог ответить:

— Да... нет... Я ничего... Мне Сергея до смерти жаль. Найди его, поговори... посоветуй, Иван Васильевич... А я что?.. Я ничего... Я должен идти, коли зовут...

На лице президента играла обычная любезно-снисходительная улыбка.

— Садись, — сказал он, указывая Тихонову на стул. — Садись и слушай. Ты художник изрядный, сам знаешь, и я имею о тебе самое авантажное суждение. Но дольше держать тебя на положении пенсионера академии, как ты числишься со времени окончания курса, не могу по причине введенной ныне стройжайшей экономии. Но, с отеческим вниманием замечая твои способности к художествам и заметные успехи в оных, вот что предлагаю. Не удивляйся, а оцени мою заботу о тебе, она проистекает из того же отеческого попечения. При том же все учителя отмечают твой тихий нрав. И по сему я могу за тебя поручиться. Так вот мое особое предложение одному тебе: поезжай на шлюпе «Камчатка», коим управляет уважаемый капитан Головин. Тебя он определит в экспедицию вокруг света в качестве видописца сего достопримечательного и познавательного путешествия и даст возможность показать твоё искусство и послужить посильно твоим силам на пользу царю и отечеству.

Тихонов молчал. Из длинной витиеватой речи президента он понял только одно: власти лишают его положения пенсионера, другими словами, тоже выкидывают из академии, предлагая взамен какой-то необычный отъезд в неведомые края, на неизвестный срок, незнакомую жизнь среди чужих людей, далеких от искусства.

— Раздумывать не время, — нетерпеливо добавил Оленин. — Радуйся, что видописец, коего ранее назначил Головин, заболел, а шлюп через несколько дней уже должен выйти из Кронштадтской гавани. Мне еще о прошлом годе про художника Головин говорил. Я ему хотел адресовать Александра, да он оказался пьяницей. — Оленин презрительно выпятил губу. — В подающем сословии вашем пьянство — не редкость.

— А моя картина, ваше высокопревосходительство? Она почти закончена.

— Бери ее с собою на шлюп, ежели начальство разрешит. А не разрешит, кончишь, когда вернешься. Теперь же поди, мне недосуг... Завтра дашь ответ через инспектора.

Тихонов раскланялся и вышел. А президент погрузился в подробные вычисления «экономии» по обновленной академии:

— Гилсовую статую Минина и Пожарского надо перенести. И это делают свои люди, нанимать не придется. Колонну Вороникина — в сад. Число учеников сократить еще. Бесплатных — ни одного. Престарелых чиновников, кои не могут нести службу, а живут все же в академии, — высе-

лить. Равно и тех, кои, окончив курс, живут у нас в ожидании отъезда за границу. Всех и медалистов... кроме Гальберга, Щедрина и Глинки. От них отечество может получить много, изрядные таланты.

Рука привычно взялась за перо:

«Итак, к 15 сего августа двадцати двум кандидатам должно покинуть стены Академии».

9

В НЕВЕДОМЫЕ КРАЯ

Едва передвигая ноги, Тихонов вошел в кабинет, где над своим мольбертом уныло сидел Поляков.

— Ведь вот всего несколько дней работы, Миша, и я кончил бы. Удалось схватить живую искру... А тут — свертывайся и лети в трубу. Ты что сейчас будешь делать? Когда собираешься?

Тихонов начал перебирать книги на своей самодельной полке.

— Разберу, что взять с собою, а что можно и оставить... Вот эту возьму непременно: «Начертание художеств». Здесь говорится о строгом выборе «предмета» для картины.

— Я знаю эту книгу, — отозвался Сергей. — В ней от художника требуется, чтобы его творения служили идеям нравственности, возвышали бы и укрепляли народный дух.

— А это несколько номеров «Журнала изящных искусств». Издание почему-то оборвалось. Вот и специальная — «Предметы для художников», издания 1807 года.

— О важности тем из отечественной истории? Тоже читал. Все это верно, конечно...

Оба невесело рассмеялись.

— Вот, Сережа, «зри», как говорили древние сочинители. Издана в царствование Анны Иоанновны и императрице же посвящена. Купил случайно у старьевщика. Мысли великого философа Марка Аврелия, жившего в древнем Риме. Хочешь, открою наугад? Ну слушай: «Паук по своей паутине подымается кверху, как он муху поймает. Человек радуется, как зайца изловит, рыбу поймает, дикую свинью или медведя застрелит. А другой веселится, что несколько пленных сарматов на цепях и в железах за собою тащит. Посмотри на их мнение, лучше ли эти люди разбойников?»

Он помолчал и добавил горько:

— И вот один такой «пленный сармат» уезжает завтра в Кронштадт. Даже в рифму вышло! А что с другим «сарматом»? И того хуже, Сережа, я понимаю...

Сергей вскинул голову:

— Другой «сармат» поедет с Лучаниновым тебя провожать.

— Спасибо. Встретимся ли когда?..

Тихонов отвернулся и вдруг закрыл глаза маленькой дрожащей рукой. Потом смущенно закашлялся и прошептал:

— Пыльно... от этой рухляди глаза запорошило... — И совсем уже другим, неестественно бодрым тоном, как-то визгливо, заговорил: — Шлюп, сказывали, преизрядный... Что тебе привезти из тропических стран: жемчужину, кокосовый орех или живого индейца? Поди, христианину, белому, хотя бы и крепостному, не возбраняется иметь цветного раба? Хочешь иметь собственного раба, Сережа?

— Будет балаганить, — с тоскою отозвался тот. — Покажи лучше в последний раз картину.

Он долго смотрел на знакомые фигуры Иоанна и Сильвестра. Каждый мазок товарища казался ему родным. Тихонов заговорил тихо, почти шепотом:

— Куда нас, Сережа, раскидает жизнь — неизвестно...

— Да, неизвестно! — точно отмахнулся Поляков и перевел разговор. — Ты не испорти свою работу, Миша, этой манерой накладывать краски. Не сгруби натуру.

— Сгрублю! — загорелся по-старому Михаил. — А разве английская художница Робертс, что вошла теперь в моду, грубит, кладя вот так краски на своих портретах? И берет с русских за портрет во весь рост неслыханную цену — четыре-пять тысяч.

— Так то не у нас, а в Англии, Миша. За границей...

И снова оба замолчали. Потом Тихонов подошел к картине Сергея.

— А где твоя Омфала? Вместо лица все еще белое пятно. Тоже ищешь? Если тебе все-таки удастся остаться в академии, не побоишься разгневать учителей? Ведь ты все больше и больше уходишь от античных моделей.

— Наш главный учитель — жизнь, Миша. И она на каждом шагу показывает нам новое.

— Я не спорю против истины. Но только сентябрь у ворот, а у тебя пусто там, где должно быть лицо.

Сергей улыбнулся. Перед ним проплыло знакомое милое лицо Машеньки.

— Я напишу ее в один присест. Я уже поймал образ. Он у меня — здесь. — Он показал на грудь и на лоб. — Ты-то успеешь ли собраться к завтрашнему дню?

— Успею! — равнодушно махнул рукой Тихонов. — Ночую у Лучанинова. Ну, не прощаюсь... Ты ведь приедешь чуть свет? Буду ждать... не-пре-мен-но-но...

Лицо у него было бледное, жалкое, губы кривились.

Сергей посидел еще у своей картины. Потом встал, чтобы подготовиться к вечеру у Федора Петровича Толстого. Мучительно хотелось повидать вернувшуюся из деревни Машеньку. Но раздумал. С такою тяжестью на душе разве можно встречаться со своим счастьем?

Чтобы убить время, он пошел домой помочь Анне Дмитриевне по хозяйству. В десятый раз раздул самовар к приходу из академии Якова Андреевича и даже пробовал качать в колыбели маленького Егорушку. Анна Дмитриевна жаловалась:

— Надоело мне, Сереженька, без девки. Да и трудно одной везде поспеть. Взять с улицы боюсь. Томление какое-то нынче и скука одолевают. И Яков Андреевич что-то долго сегодня не идет, самовар, поди, весь выкипел. А с вами что будет, голубчик вы наш, не придумаю. Ведь вы нам как родной! Выхлопочет ли профессор Егоров милости для вас? Мой Яков Андреевич уж так сокрушается...

Васильев вернулся прямо из академического совета, мрачный и сердитый.

Анна Дмитриевна испуганно вскинула на него глаза.

— Ничего не вышло! Мокрый я весь, до того вспотел, бегавши по профессорам. В одиночку все за вас, Сережа, а на совете — молчок. Были и такие, что мне даже пеняли: «Гуманерию разводите. Свободы захотели для холопского сословия. Вольнодумец вы, безбожник!..»

— Ах они бессовестные! — возмутилась Анна Дмитриевна.

— Да что я? — освежая лицо водой, говорил Васильев. — Алексея Егоровича, вашего профессора, не послушали. Федор Петрович Толстой тоже за вас горой: и так и этак умасливал Оленина. А тот, как каменный, все свое: «Крепостные — язва академии, и ни одному из них нельзя делать исключения. Пусть просит своего господина выдать ему вольную. Так и быть, две недели подождем».

— Всего две недели! — всплеснула руками Анна Дмитриевна. — А господа-то его, какись, за границей!

— Ну, это только говорится, две недели. Можно будет, верно, и оттянуть... Кончилось тем, что вынесли особое постановление для всех членов академии: не принимать в ученики даже частных образом людей крепостного состояния без обязательства от помещика давать вольную в случае получения ими академических наград. Вам, Сережа, остается одно: написать своему помещику. Я, со своей стороны, тоже ему напишу. Алексей Егорович и Федор Петрович, конечно, тоже напишут... Да нет ли еще у кого связей с вашим Благово? Толковали: Благово, Римские-Корсаковы и Толстые будто бы родня между собой. На Москве титулованные кумушки уверяют, что они все между собой родня, потому от Адама с Евой произошли. А крепостные, по их определению, — от обезьяны... Подите, Сережа, пишите скорее письмо. Завтра и отправим, зачем откладывать?

Сергей восторженно. Он напишет не только своему барину, но и Сашеньке Римской-Корсаковой. А Сашенька упросит мать.

Знаменитая Мария Ивановна Римская-Корсакова всей Москве известна и дама внушительная. Если примется за дело, никому не устоять. Благово ее послушается.

Письма были написаны ночью. Утром Сергей шагнул на пристань завода Берда, к устью Невы. Оттуда на мелком паруснике предстояло отправиться в Кронштадт.

Дул ветер. Плавучая дощатая пристань качалась на волнах. Тихонов с Лучаниновым были уже там. Чтобы подбодрить уезжавшего друга, Лучанинов сыпал шутками-прибаутками. Увидев Сергея, он еще издали закричал:

— Здорово! Сережка! Развесели хоть ты сию неутешную вдову Микаэлу! Посмотри поближе, совсем убит. А мало ли людей позавидует ему? Кругосветное путешествие! Шутка ли? И выбор на него одного пал. Счастливец!..

Тихонов сидел на чемодане и казался особенно маленьким возле груды свертков с папками и книгами, у своей картины на подрамнике, зашитой в мешковину.

Лучанинов уговаривал:

— И проводим тебя, Миша, и встретим честь честью, совсем как когда-то меня провожали из дома в академию. Только меня везли не на твоём нарядном шлюпе, а в простой рыбацкой лодке. Отец, помню, дал мне пятак на пряники, а бабка, на попечении коей я рос, последний грш... Ну поезжай, ребята! Билеты я уже взял.

Парусник качался. Трап под ногами плясал. Потом зашуршал канат, и судно стало медленно отчаливать:

— А твои как дела, Сережа? — спросил Тихонов.

— Хлопочут все: и Яков Андреевич, и граф Толстой, и профессор Егоров... Да пока толку мало. Помещику написали.

Парусник проходил через Усть-Невские мели. Петербург убежал назад, таял, как призрак. Только шпиль Петропавловской крепости все ещё сверкал вдали, пронизанный солнечными лучами. Правый берег залива, суровый и дикий, всплывал синей полосой, а левый, усеянный дачами и деревнями, казался веселым и заманчивым в своих садах, рощах и перелесках... Проплыли мимо Сергиевской пустыни с купами монастырских деревьев и высокой колокольней; промелькнула Стрельна с легкими очертаниями дворца; показался пышный петергофский парк, потом — Ораниенбаум. И он утонул в беспредельной пелене моря. За бортом бежали белые барашки.

На корме кто-то громко заявил:

— Отселева, братцы, до Кронштадта рукой подать, верст восемь.

Беспрестанно встречались суда с развевающимися на ветру флагами. Небо было без облачка. Солнце палило, как летом. В его лучах все на море представлялось радостным и праздничным.

Лучанинов потрепал Тихонова по плечу:

— Славно угостимся на берегу, Миша. Выпьешь на дорогу один посошок в «Итальянском» трактире. Ничего с тобой не будет на этот раз. Там и переночуем. А завтра чуть свет — счастливого пути!

Кронштадт. Длинный ряд пушек на стенах крепости.

— Серьезный городок! Шутить не любит, — торжественно изрек Лучанинов.

— Да, пушки шутить не любят, — отозвался Сергей.

— Ишь как грозно нахмурились. А вон мачты выстроились, что лес.

— Где только зелень в этом голом лесу? — уныло спросил Тихонов.

— Тебе все теперь неладно, отшельник! Ты лучше полюбуйся на флаги: все цвета радуги. Я-то ничего в них не смыслю — какой к чему. А ты по этой части скоро у нас профессором станешь. Смотри привези мне живого эссыорога. Я на нем по Питеру ездить стану. Вот смеху-то будет! — Лучанинов старался развеселить друга.

Гавань пестрела от трепетавших в воздухе флагов. Сеть бесчисленных мачт чертила небо. И среди них были одни — мачты того «заветного» корабля, о котором грезили все художники. Он мог увезти их в Любек, в эту первую остановку по пути к желанному раю — Италии. Удастся ли когда-нибудь ступить на его палубу трем подъезжавшим к Кронштадту друзьям?..

Корабли стояли тесно, но в определенном порядке, красивые и стройные, как стая невиданных птиц. Отдельно от других сверкала новой, ярко вычищенной медью великолепный шлюп. И с борта его будто кричала огромная надпись: «Камчатка».

— На каком ты судне поедешь, Миша! — заметил Лучанинов восторженно. — Год целый строили. Ну вылезай, ребята! — И, подражая командир штурманов-финнов, закричал: — То-о-оп, машина! Сат-ний код!

Высадились у гауптвахты и вдоль крепостной стены прошли в город.

«Итальянский» трактир ничем не напоминал Италию. Там шипел обычный гигантский самовар. А у стойки в буфете, как во всех трактирах, подавал водку, вино и всякие закуски хозяин в розовой рубашке и жилетке. Половые с салфетками на руке сновали между столиками. В углу надрывался хрипый орган с изображением девицы, целующей голубка. За дощатой стеной раздавался стук бильярдных шаров и мужские голоса.

— А ну, детки, — начал бодро Лучанинов, — дернем по рюмочке-другой, вспомним Елагина и доброе время, проведенное в благословенном Петровском. Итак, за здоровье добрейшего Алексея Петровича и всех сродников его!

В трактире собралось немало всякого народу. Посреди залы плясали, обнявшись, подвыпивший русский мичман с английским, пили и целовались, объясняясь в любви друг к другу. Рядом, собравшись тесной группой, опоражнивали пузатые чайники купцы и, вытирая пот пестрыми платками, торговались с двумя немцами-коммивояжерами. В соседней комнате кутили молодые морские офицеры, и матросы бегом носились через залу к стойке, заказывая хозяину новые порции вина и закусок.

Друзья посидели чинно за столиком, выпили мадеры, послушали шарманку, пошатались по городу и вернулись в трактир только к вечеру.

Спали они на скверных кроватях, на жестких подушках с сомнительными ситцевыми наволочками.

Заря чуть полсснула небо, когда они были уже на ногах, и сейчас же отпавилась на набережную.

Тихонов растерялся и чуть не забыл чемодан. Сергею пришлось бежать за ним в трактир.

Схватив свои вещи, Тихонов с видом бросающегося в пропасть ступил на трап.

На палубе толпились военные. Матросы мелькали взад и вперед: тащили тюки и ящики, катили бочонки, лазали по мачтам, прилаживали паруса, подтягивали канаты. В этой суете чувствовалось что-то бодрое, зовущее. Становилось весело от яркого солнца, от блеска его на поверхности моря, от волн, плескавшихся о борта шлюпа, от окриков команды...

Среди общего оживления выделялась понурая фигура Тихонова с бледным, осунувшимся лицом.

Высокий плотный капитан — начальник экспедиции Головин — прощался с друзьями и объяснял иностранным гостям — англичанам и шведам:

— Шлюп отправляется на северо-восток. Мы должны доставить на Камчатку нужные для сей области нашего государства припасы, обозреть там колонии Российско-Американской компании и определить географическое положение тех островов и мест Российских владений, кои не были доселе определены астрономическими способами. Нам предстоит также посредством малых судов осмотреть и описать северо-западные берега Америки, к которым, по причине мелководья, капитан Кук не смог приблизиться.

— Весьма интересное путешествие!

— Ол райт! — любезно поддакивал англичанин.

Гордо улыбаясь, Головин смотрел на нарядное детище своих долгих забот. От канатов приятно пахло смолой. Всюду сверкали металлические части. В кубрике слышались голоса и стук поварских ножей. В солнечных лучах паруса казались белоснежными.

— А сколько на шлюпе экипажа, господин капитан?

— Сто тридцать, и все, как на подбор, славные ребята. Господин президент академии тайный советник Алексей Николаевич Оленин, сверх морских чиновников, определил ко мне молодого, но изрядного уже живописца с самой авантажной адресацией. Я очень рад. Вот он пробирается сюда со своими вещами. Э, молодой человек, ваши вещи мог бы отнести матрос!..

Тихонов пробормотал что-то несвязное. Головин покачал головой и снисходительно заметил:

— Сложения сублильного живописец, но, надеюсь, на морском воздухе окрепнет. В морских путешествиях искусный живописец весьма нужен. В отдаленных частях света есть много предметов, образцы коих привезти невозможно. И одно только, даже подробнейшее описание не может дать о них надлежащего понятия.

Головин говорил, а взгляд его зорко следил за приготовлениями к отплытию. Солнце слепило. Он отдал честь гостям и откланялся:

— Сейчас снимаемся с якоря, господа! Провожających прошу сойти на берег.

Тихонов обнял товарищей.

— Прощайте! — сдавленным голосом вырвалось у него. — Увидимся ли?

— Еще что выдумал! — сказал Сергей, преодолевая комок в горле. — Как еще похвастаемся друг другу своими новыми работами — вот увидишь!

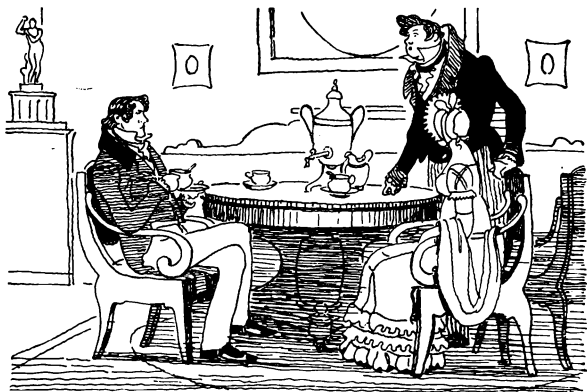
Лучанинов шутиливо погрозил пальцем:

— Ты, Миша, смотри не измени дружбе и не останься под тропиками совсем. Да не женись на женщине с кольцом в носу.

— Брось паясничать, — рассердился вдруг Тихонов, но спохватился и бросился на шею товарищу.

Трап подняли. Шлюп медленно, точно собираясь с силами, начал рассекать волны, отодвигаясь от пристани. Паруса запылали в солнечном блеске, и на безоблачном, голубом небе стали казаться огромными крыльями. Облокотившись на перила, Тихонов не отрываясь смотрел на уходящий берег и на два белых платка в руках товарищей, которые трепал ветер.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

ГОСПОДА

На Малой Морской отделялся по последней моде барский особняк. Из-за границы выписали красного дерева ампирную мебель, зеркала в золоченых рамах, фигурные часы. Целыми днями устанавливали оранжевыми цветами анфиладу комнат с лепными потолками и со статуями в нишах. Вешали драпри, занавеси, разбирали ковры, французские, турецкие, персидские. Потом навезли мебели из карельской березы, вдобавок к заграничной, и стали натирать полы.

Всем распоряжался Ганс Карлович, немец, «мажордом», как приказано было дворне величать его. Крепостные слуги толпились в передней, в коридорах, в людских, на лестнице, в кухне и во дворе. Там усиленно выколачивали вещи, пользуясь редкими солнечными днями петербургской мокрой осени. Лакеи были в новых ливреях, светло-коричневых, хорошего «аглицкого» сукна, с басонами, в мягких, бесшумных туфлях с пряжками. Немец, со строгим красным лицом, с брюзгливо оттопыренной губой, царст-

вова без господ самовластно. Ломаным русским языком он покрикивал на людей, и рыжий парик со взбитым коком на его лысой голове поминутно съезжал на редкие седеющие баки. Водянистые глаза шныряли по всем углам, выискивая предлог для выговора.

Ждали из Москвы молодых господ — Петра Андреевича Благово с женой. Они должны были приехать сразу после венца. Петр Андреевич получил назначение в Коллегию иностранных дел, а молодая жена его грезилась о придворных балах и столичной роскошной жизни.

В особняк несколько дней подряд приходил Яков Андреевич Васильев справляться о приезде Благово. И мажордом всякий раз невозмутимо отвечал:

— О, mein Gott!..¹ Ишо не приехали. Полюшен только депеш: готовь ожидать каштый дэнъ.

Яков Андреевич кивал головою и уходил, а дома говорил Сергею:

— Потерпите еще немного, Сережа. Все уладится. Немец ждет господ со дня на день. Вот мы и напустим на вашего барина Федора Петровича Толстого. Он граф, свой брат, ужли ж ему откажет? Добрейшей души человек Федор Петрович! Сам взялся переговорить и сказал, что Толстые с Благово давно в родстве, еще через пращуров² Римских-Корсаковых... Фамилия, говорит, историческая. Ну, утро вечера мудренее, и нос вешать пока нечего. Завтра опять схожу. Вы к немцу сами-то не суйтесь, как бы не оставил до приезда господ и не натянул бы на плечи кофейную ливрею. У них там полным-полно коричневых лакеев. А цвет, я вам скажу, замечательный! Я давно такой тон подбираю для одной фигуры на моей картине: «Посольство к царю Борису Годунову». Замечательно теплый тон! Ну, а вы не тужите, Сережа, и кончайте спокойненько своего «Геркулеса». Я вам уголок славный в столовой отделил, там света порядочно. Работайте, работайте!..

Федор Петрович Толстой отправился к приехавшему наконец Благово.

Родственник, седьмая вода на киселе, принял его любезно в «голубой» гостиной и представил жене. Молодая женщина тоже была вся в голубом, в волнах кружев и голубых лент на воздушном корнете³ поверх светлых льняных кудряшек. Она улыбалась, вскрикивала в детском, казалось, восхищении и поминутно повторяла:

— О, c'est charmant!..⁴ Приходите к нам почаще, в наше гнездышко, cher cousin!..⁵

После нескольких общих фраз Федор Петрович перешел к делу и стал рассказывать об успехах их молодого талантливого крепостного в академии, о его почти законченной картине, о том, что он непременно будет послан за границу. Только нужно будет дать ему вольную для получения

¹ О, мой бог! (нем.)

² Пращур — прадеды.

³ Корнет — чепец.

⁴ О, это прелестно!.. (франц.)

⁵ Дорогой двоюродный брат (франц.).

аттестата. Маленькая женщина плохо слушала про неинтересные ей «аттестат», «вольную» и «академию», зато жадно ловила описание работ своего крепостного.

— C'est charmant!.. Он рисует и портреты?..

Голубенькие глазки смотрели на Толстого приветливо. Губы улыбались невинной улыбкой. Ребячливым жестом она потянула мужа за рукав:

— Пьер, это прелестно! У нас будет свой Рафаэль. Он еще, говорите вы, cousin, не кончил этой большой картины?.. «Геркулес и Омфала», так, кажется? Ну так пусть он напишет «Омфалу» с меня. И мой портрет тоже отдельно. И ваш, Пьер, ваш — в новом мундире. А я — в блондах, как в облаке, на фоне неба и вокруг чтобы мотыльки и бабочки...

— Вы ангел, Лиз! Ну конечно, ваш милый образ среди голубого неба, как мадонна... этого, как его, я забыла...

— Рафаэль, Мурильо, Грэг... — подсказывала жена.

— Вот именно, именно! — целовал он ее детские ручки.

Толстой легко угадал, что первую скрипку в этой чете играет жена, и любезно спросил:

— Так как же рассудите, Елизавета Ивановна, насчет Полякова?

Маленькие ручки захлопали в ладоши.

— О, благодарю вас, cousin, за сообщение. Je suis enchantée! ¹ Для меня это крайне, крайне интересно. У нас с Пьером как раз недостает художника и деликатного лакея... с некоторыми манерами. А вы говорите, что он воспитан и танцует даже экосез и мазурку... знает языки и держится, как дворянин?..

— Он принят в лучших домах столицы, сударыня.

— Charmant! Charmant! — щебетала Елизавета Ивановна.

— Так как же рассудите, Петр Андреевич? — добивался определенно-го ответа Толстой.

Благово вопросительно обернулся к жене:

— Что вы скажете, Лиз?

— О чем, мой друг?

— О вольной для вашего крепостного, — подсказал Толстой.

Голубенькие глазки были полны удивления:

— О во-оль-но-ой?! Зачем? О, Пьер! Зачем ему вольная? Я его буду держать при своей собственной персоне. Он будет моим выездным лакеем. Всюду со мной, со своей барыней... И пишу я стану посылать ему со своего стола. Никакой грязной работы. Всем обеспечен. Он будет счастлив. За чем ему... вольная?

Толстой пробовал объяснить, снова повторял об экзамене, об аттестате, о медали и поездке в Италию.

Детское личико исказилось, готовое заплакать.

— Пьер, скажите же, скажите, что нам самим нужен этот крепостной!

— Конечно, конечно, мой ангел, — бросился к ней Благово. — Вы видите сами, дорогой Федор Петрович, что ваше ходатайство невозможно. К то-

¹ Я очарована! (франц.)

му же мы с Лиз имеем похвальный пример в лице нашего, а тем самым и вашего, родственника. Изволите знать генерал-майора и камергера Ивана Николаевича Римского-Корсакова?

Толстой наклонил голову в знак подтверждения. Кто же не знал немногого, бездарного фаворита Екатерины II, выдвинувшегося на короткое время благодаря своей красивой внешности!

— Так вот, — продолжал Благово, — этот наш с вами родственник Иван Николаевич, ему уже шестьдесят три года, но держится он крепко в родовых правилах: поднимать фамильную гордость всем, чем только можно. В подобном же случае он наотрез отказался дать вольную своему художнику-архитектору Простакову, которого знала вся Москва. Сколько раз холоп умолял о вольной, предлагая за себя большой выкуп. Но ответ неизменно бывал один: «Ты и искусен-то, чтобы прославить своего господина. Сиди пока, работай, а понадобится мне, выпишу немедленно». Да что!.. Сам государь обратился однажды к Ивану Николаевичу о вольной Простакову. И знаете, что ответил непреклонный старик? «Ежели что хорошо, то оно мне тем паче, ваше величество, надобно. Добром не отпущу. А будет ваше на то высочайшее повеление, не токмо его, но и все имущество мое и даже жизнь повергну к стопам своего монарха...» Ну государь, конечно, не присудил конфискации имущества достойного вельможи. И Простаков вольной не получил. Вы что-то хотели сказать, *mon ange*¹? — услужливо оборвал себя Благово.

— Я хотела сказать, — снова сияя улыбкой, протянула Елизавета Ивановна, — что вам, *cousin*, напротив, должно только радоваться за вашего протеже. Мы с Пьером всемерно прославим его. Мы дадим ему разрешение расписать наше гнездышко, подобно... шереметевскому Останкину в миниатюре. Это будет настоящая бонбоньерка². Игрушка! Если он искусен, мы будем его поощрять, и под нашим покровительством он станет... как это... совершенствоваться. Ничего грубого, вульгарного. Все изящно, тонко, эфирно. Не правда ли, мой друг?

Благово был в восхищении:

— Ваша головка, Лиз, не только очаровательна, но и полна рассудительности!..

Толстой с печалью видел, что все его доводы рушились о каприз избалованной женщины, что его перестали уже слушать и ждали лишь светской болтовни.

Он встал и попрощался.

«Розовый» дом показался Федору Петровичу вдруг унылым и холодным, убранство комнат в греческом стиле навязчиво-неуютным. Он быстро прошел к себе в кабинет и опустился в кресло, не зажигая огня.

«Что можно сделать еще? — мучительно думал он. — Как вырвать из хищных маленьких рук Елизаветы Благово выдающийся талант?..»

¹ Мой ангел (*франц.*).

² Бонбоньерка — коробка, обклеенная цветной материей или бумагой, для конфет, парфюмерии и пр.

Прощение «на высочайшее имя»? Но на это уже заранее получен ответ в рассказе о крепостном архитекторе екатерининского вельможи. Благово дословно повторяет всю его историю. Случай однородный.

Случай? Но разве случаи изменяют общее положение? Мысль Толстого коснулась того, о чем говорилось уже давно и не раз среди лучших людей России. Говорилось чаще в строжайшей тайне. «Случай» становился общим вопросом. И вопрос назревал, как желанный плод, и лучшие умы ждали его, готовились к нему...

А пока, что будет с Сергеем Поляковым? А Машенька? Невыносимо тяжело видеть ее испуганные, вопрошающие глаза. Она ведь ничего не знает. Сергей так и не был у них после летних каникул.

В тесной каморке под лестницей, отведенной ему для жилья, Сергей в первый раз надевал коричневую ливрею господ Благово. Он должен был носить ее теперь постоянно. Руки не слушались его и дрожали, поправляя на плече басыны.

В передней мажордом осмотрел нового лакея с головы до ног:

— Гут! Фигюр карош!

Он поставил Сергея у дверей, рядом с казачком, лукаво поглядывавшим на новичка. Мальчик успел уже приобрести кое-какой навык среди «челяди» и спросил быстрым шепотком:

— Во что играешь? В орлянку или шашки?

Сергей не ответил. Казачок заметил:

— Здесь со скуки сдохнешь, коли не играть в орлянку либо в шашки.

Сергей продолжал молчать.

Мажордом вернулся, и мальчик сделал невинное лицо.

— К барине, Сереж!

Елизавета Ивановна сидела в фисташковом будуаре среди оборок нежно-розового капота. Голова ее была в папильотках. С острым любопытством она оглядела Сергея и осталась довольна.

— Ну вот... — начала Благово покровительственно. — С сегодняшнего дня ты будешь служить только мне. Ты рад? Я добрая, снисходительная барыня. Что же ты молчишь?

Сергей с трудом выдавил из себя:

— Что прикажете, сударыня?

Елизавета Ивановна почти кокетливо защебетала:

— Прежде всего прикажу... веселого лица, а не такого, как у тебя сейчас! Такое выражение у слуги действует на нервы. Это вредно, понимаешь, вредно-о! А твоя обязанность — беречь свою барыню. Ты мой выездной чакей, доверенный слуга. Понимаешь?

— Слушаю-с...

Елизавета Ивановна надула губки. Какой скучный холоп!

— Почитай мне, — приказала она нетерпеливо. — Ты, говоря, читаешь по-французски. Вон там, на канапе, книжка. Читай, а Марфуша станет меня причесывать.

Она позвонила в колокольчик в виде ландыша, и в будуар вбежала смуглолицая, черноглазая девушка, с вздернутым носом и полными яркими губами.

— Что прикажете, сударыня?

— Причеси, — протянула Елизавета Ивановна и откинулась на фиштакшовой шелк кресла.

В зеркало ей было видно, как быстрый взгляд Марфуши скользнул по фигуре нового лакея, как девушка вся вспыхнула и потупилась. Елизавета Ивановна улыбнулась. Она предчувствовала какие-то забавные для себя возможности от встречи этих двух холопов.

«Хотя, — подумала она, — эти люди так грубы, так развращены. В них нет ничего возвышенного, никаких тонких чувств. Ах, лакей уже читает, а она задумалась и не слышала начала. Скажите, у него прекрасное произношение... прононс. Вот неожиданность! Нет, он мил, положительно мил, этот... как его... Сергей. Только следует переименовать его на французский лад. Русские имена ужасно вульгарны!..»

— Се-ерж! — оборвала она на полупhrase. — Сегодня, после завтрака, я поеду за покупками. Ты поедешь со мной. А свою картину поторопись кончить. Повесишь ее в картинную галерею, которую мы устраиваем с барином. Мажордом укажет тебе место для нее. Впрочем, я распоряжусь сама. А потом сразу же начнешь мой портрет и затем — твоего барина... Ты должен угодить нам портретами, слышишь? Иначе... иначе я тебя продам, — решила она «припугнуть» на всякий случай.

Марфуша не спускала с Полякова глаз. Первое впечатление восхищения сменилось у нее вдруг чувством непонятной ей самой жалости.

В гостином дворе Сергей торопливо соскакивал с запяток и помогал барыне выйти из кареты. У знаменитой модистки держал шубку барыни. Потом, весь увешанный свертками, снова откидывал подножку и усаживал Елизавету Ивановну в карету.

На следующий день барыня потребовала начать ее портрет. Но сидеть ей надоело, и портрет отложили. Сергею приказали спешно кончать «Омфалу» и нарисовать в ней барыню по памяти.

Потом Елизавета Ивановна пожелала учиться рисованию.

— Только я не хочу этим противным карандашом, Серж, — сказала она. — Карандаш грязнит руки. Можно рисовать сразу акварелью что-нибудь такое... изящное... Светская дама должна все понимать и многое уметь.

Еще в девичестве Елизавета Ивановна училась петь у итальянца, но это ей давно прискучило. При гостях она все же охотно распевала высоким голоском незатейливые рулады из модных арий. Теперь она решила заняться рисунками. Вырезала из иностранных журналов картинки и копировала с них пастушков и пастушек в кругу овец, похожих на куски ваты, плакучие ветви деревьев, с четко вырисованными листочками, склоненные к голубым водоемам, над которыми курчавились бело-розовые облака.

Благово, как всегда, был в восторге и всюду превозносил замечательный талант жены.

Случалось, надоедала и эта забава. Тогда барыня топала туфелькой и разрывала свое изделие в клочки, заливаясь капризными слезами.

— Я не была еще в Лондоне, — говорила после таких минут Елизавета Ивановна, — но петербургские туманы, право, наводят на меня лондонский сплин. Этот туман проникает даже сюда, в наше гнездышко, Пьер. В эти дни мне хочется только плакать и молиться...

Благово терял голову, не зная, чем утешить жену. Он сознавал, что, будь у него более солидное состояние, Лиз меньше бы хандрила. Их «гнездышко» все еще требовало хлопот и затрат, чтобы идти в ногу с вельможной столицей. Ах, Москва куда проще и спокойнее!

В доме появились вдруг какие-то монашки и странницы. Но и они быстро надоели, от них пахло «чем-то простым», деревенским, холопским. Их сменил надушенный ксендз в черном длинном одеянии, с тонзурой — выбритым кружком на макушке — и смиренно опущенными глазами. Увлечение католицизмом было тогда модным в большом свете Петербурга. Несколько великосветских дам стали выдавать себя за ярых католичек. Даже в ветхозаветную Москву одно время начало проникать это увлечение.

— Тоску по прекрасному, — шептала, полулежа на фисташковом канapé, Елизавета Ивановна, — так смягчают звуки органа! Вся эта таинственность и пышность католического богослужения, когда кругом статуи, кружева, цветы и благоухание...

В такие дни Сергея оставляли в покое. И он рисовал, напряженно ища в любой работе забвения от былой мечты, от воспоминаний.

Но краски словно тускнели на его палитре. Взамен былых поисков и надежд оставались пустота и холод. И это убивало творчество. Задыхаясь в нарядном особняке, битком набитом чужими, далекими по развитию, по вкусам и привычкам людьми, он не находил себе места. Но идти на улицу было еще невыносимее. Ливрея жгла ему плечи. Казалось, что ни один глаз не пропускает «мягкого тона» его коричневой формы. В каждом встречном чудился недавний знакомый, который вот-вот оглянется и спросит:

«Помилуйте, Сергей Васильевич, что за маскарад?!»

Мучительны были и выезды с господами в театр или в гости. Он должен был сидеть, сторожа их шубы, в театральном вестибюле или в передней и слушать, как другие лакеи перебивают кости своих господ. Он молчал, сторонился, и за это новые товарищи невзлюбили его.

— Гордец! — доносилось до него. — Уж будто у его барина больше всех наших в мешке!

— Особняк, вишь ты, построили на Морской, вот невидаль! У моей княгини дом во-о какая махина! И кажинный день карет, карет к подъезду подкатывает. Сам государь наемдн приезжал.

— А у нашего графа имениев и не счесть!

— Благово-то хоть и дворянский род, старинный, да все же не графы и не князья.

Всего хуже было сопровождать господ на балы. Кучера оставались на

улице и утешались тем, что грелись вынесенным им «пенником» — водкой. Но лакеи, раздев господ, должны были проходить в лакейскую, где судачили, пока господа танцевали и веселились. Эти лакейские становились для Сергея камерой пыток.

Никогда не мог он забыть своего первого там унижения.

Вечер у Салтыковых, почти рядом, на той же Малой Морской. Но господа все же отправились «для приличия» в карете. Подножка откинута — барыня выпорхнула на руки выездного. За нею, изогнув стан, вышел барин. Когда, сняв с обоих шубы, Сергей передал их швейцару, тот поднял на него удивленный взгляд. Старый, седой, больше полувека знавший по себе крепостную кабалу, он не мог ни злорадствовать, ни шутить, как другие.

Едва Елизавета Ивановна, шелестя шелком легкого бального наряда и опираясь на руку мужа, поднялась на несколько ступенек, он пригнулся к самому уху Сергея и сокрушенно зашептал:

— Сергей Васильевич... батюшка... как же это? Да как же так? Господи, боже мой!..

Он знал Сергея хорошо. В этом доме Поляков бывал часто, и так же часто старик принимал или подавал его верхнее платье, прощаясь, снова вручал трость, шляпу. Он знал, что художника принимали здесь как равного, что портреты работы Сергея считались украшением комнат, и вдруг...

Сергей, задыхаясь, пробормотал:

— Покажи мне, Трофимыч, как пройти... в лакейскую.

И вот она, лакейская. Среди духоты и дыма от дешевых сигар и табака калитра — говор, смех, вольные шутки... Даже какое-то угощение. Салтыковы — господа нескупые. Слуги едят из общей тарелки, пьют вино, стащенное в буфете. Чешут языки, перебивая друг друга, заходят в барские кабинеты, считают в господских карманах, перебирают всю их родню...

Сергей сел в угол, чувствуя, что на него все смотрят. На минуту в комнате воцарилось молчание. Потом послышался насмешливый голос лакея князя Волконского, министра двора:

— Чтой-то, братцы, у меня в глазах рябит или чудится... Кажись, мадеры немного еще выпито. Да ведь это Сергей Васильевич, художник отменный! Заблудился, что ли? Ему, кажись, в гостиной быть надо бы и бланманжеи с морожеными кушать, оршадами да шампанскими запивая, и ножками шаркать в бальных башмачках, по зале с графинями носясь в обнимку. А он, вишь ты, в лакейскую к нам не побрезгал забрел!

Раздался общий смех.

— Не почистить ли метелочкой вашу шляпу, Сергей Васильевич? Не прикажете ли оберечь ножки?

И опять смех. А потом голос старшего лакея Салтыковых, полунасмешливый, полусочувствующий:

— А ты, Серега, плюнь на них, пра-слово! Садись к столу да угощайся! И впрямь не брезгай нашим угощением. Такова, братец, ныне твоя пла-

нида. Видно, господь тебе счастья забыл положить под подушку, когда ты родился, а старуха судьба сунула котомку с горем горьким...

Сергей не шевельнулся.

— Ну и черт с тобою, когда так! — рассердился лакей Салтыковых. — Смотри какой пан!

— Сам с усам и при себе с часам! — подхватил слуга Волконского.

И снова дружный хохот.

Начался разъезд. Подавая шубы своим господам, Сергей увидел вдруг Машеньку Баратову. Она его не заметила, зябко кутаясь в мех и сбегая по ступенькам лестницы в бальных туфельках с перекрещенными на подъеме ленточками. Сзади шла, вероятно, ее мать и сварливым голосом говорила:

— Не спеши, Мари. За тобою не поспеешь. И что тебе здесь не мило? Бывало, не увезешь, а теперь... Барон, дайте мне вашу руку и проводите нас.

В морозном воздухе прозвучал четкий окрик:

— Каре-ету Ба-ра-то-вых!

Машенька быстро скользнула в дверцу. За нею вползла маменька, подерживаемая тощим бароном. И карета унесла их.

После бала у Салтыковых Сергей затосковал еще сильнее, похудел, осунулся, чувствовал себя совсем больным.

Елизавета Ивановна, увлеченная чем-то новым, редко требовала его к себе. И в свободные минуты можно было бы сходить куда-нибудь. Но проклятая ливрея держала его, как на цепи. Сергей тосковал об уютной семье Васильевых, о шумном Лучанинове. Думать о «розовом» доме Толстых он не решался.

Иной раз вечером с позволения мажордома Сергей все же выходил, чтобы побродить по улицам. Шел на Благовещенскую площадь, подставляя снегу разгоряченное лицо, ловил жадным ртом белые ледяные звездочки, раскрывал грудь навстречу поднявшейся метели, стараясь продрогнуть, чтобы свалиться в тяжелом недуге и забыть все.

Останавливался у памятника Петру, зовущему вперед, к корабельным верфям, к морю, на запад, откуда шел свет в глухую темень старой закопченной России. Поднимал голову и среди снежного вихря громко спрашивал:

— Ты, который вытащил на вершину жизни простого пирожника, Меншикова, научи, как же быть мне — художнику, не могущему жить без настоящего искусства?..

Бронзовый Петр молчал, указывая широким жестом в бескрайнюю даль, затуманенную снежной выюгой.

Вялым шагом Сергей переходил Благовещенский мост — обычный путь прогулок трех друзей еще так недавно. Знакомая набережная Васильевского острова. Нет камня, которого бы не касались их ноги. Темнеет громада родного здания. Академия!.. Здесь столько лет жил Сергей! Знакомый купол, знакомый фасад, знакомый подъезд... И заветная дверь, — она те-

перь на запоре для него навсегда. Но сбоку, с 4-й линии, он ведь может войти когда угодно. Уверен, что будет по-прежнему желанным.

Сергей пробрался к квартире Васильева. Как вор, прильнул к окну. Хорошая хозяйка Анна Дмитриевна, стекла у нее всегда протерты. Сергеем видна вся столовая. Обычный самовар «с разговором» обдает низкий потолок паром. На руках у Анны Дмитриевны Егорушка в одной рубашонке. Выросший и пополневший мальчик пляшет и хохочет. Зеленая тень абажура от подсвечника падает на пышную шевелюру Якова Андреевича, сложенную особенно низко над очередным «отчетом». Еще бы! Оленин взыскателен; попробуй не угоди-ка ему! Лицо Васильева осунулось. Несмотря на теплый халат, он ежится точно от холода. Уж не занемог ли?

Если бы Сергеем занемочь! Да нет, здоровье железное...

Войти или не войти?.. Дернуть за ручку звонка? Постучать в окно? Примут, обрадуются. Расспросам не будет конца. Придется рассказывать все, обнажать душу, говорить о лакейских... Нет, не хватит сил...

И он пошел прочь, теряясь в снежной мгле.

2

СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РАФАЭЛЬ

Зима уходила. Уже падали с крыш сосульки. Пела весенняя капель. Громко бурлили пенистые потоки, вырываясь из жестяных водосточных желобов, и бежали вдоль улиц на соблазн дворовым ребятишкам, пускавшим кораблики-щепки...

В один из солнечных дней конца марта Елизавета Ивановна Благово принимала гостей, празднуя свое рождение. Накануне она потребовала Сергея, расспрашивала об именах знаменитых иностранных художников, об их «особенностях» и отмеченных знатоками картинах.

Сегодня в бархатном бледно-зеленом платье с вырезом, открывавшим анемичные плечи, в жемчужном колье и кокетливом корнете с лентами морской волны, она отвечала на поздравления петербургских визитеров. Но чувствовала себя созданной для жизни в иных широтах.

— Ах, душечка, к моему дню рождения судьба подарила прелестную погоду. В такую пору хочется совершить вояж куда-нибудь подальше... к солнышку, к цветам, к благоухающим дубравам... Я мечтаю об Италии... Пьер, когда мы поедем в Италию?

— Как только прикажете, мой друг!

Благово наслаждался: они с женой сидели в гостиной нежной парой, а вокруг жужжал рой голосов. Хозяйка щебетала громче всех:

— Я мечтаю об Италии! Страна истинных искусств! Мы с Пьером собираемся привезти оттуда статуи и картин для нашей картинной галереи. Я обожаю картины! J'adore! Они отвлекают от прозы будничных дней...

Лавируя среди столиков с вазами, в которых стояли цветы — подарок хозяйке от новых столичных знакомых, — Сергей разносил на подносе шо-

колад и бисквиты. Возле пожилой обрюзгшей дамы он неожиданно увидел Машеньку. Она сидела опустив голову, безучастная ко всем этим нарядным гостям. Побледнев, с трясущимися руками, Сергей подошел к матери и дочери.

Машенька, не поднимая глаз, взяла нехотя чашку.

Сергей смотрел на похудевшее любимое лицо, с новым для него выражением тоски, с пятнами болезненного румянца. Прозрачные тонкие пальцы держали чашку и рассеянно помешивали дымящийся шоколад. Все внимание девушки, казалось, было сосредоточено на этом легком, чуть заметном паре, тающем в воздухе.

Машеньке действительно представлялось, что и вся ее жизнь, короткая и светлая до сих пор, похожа на этот пар над сладким напитком. Едва поднявшись, уже тает и исчезает...

Днем и ночью думала о Сергее. Что случилось? Почему он не бывает у Толстых, где его принимали, как родного? Почему не идет с ней встречи? Он точно умер. И ни дядя Федор Петрович, ни тетя Аннет, ни няня — никто ничего ей не говорит, не объясняет. Неужели и они ничего не знают о нем? Но почему тогда не пробуют узнать? Болен Сережа или уехал и забыл ее?.. Почему все так странно получилось: сначала радость и любовь, беззаботность и покой, а потом эта неизвестность, предчувствие беды, бессонные ночи одиноких тревожных мыслей? Почему ей так трудно примениться к этой сложной жизни после свободного раздолья в глухом уголке Тверской губернии, где она росла? После чудесного знакомства с человеком, близким ей по вкусам и радостным мечтам? С человеком, таким красивым, талантливым и любящим? Детство кончилось, юность улыбнулась несколькими месяцами счастья, а теперь... эта страшная неопределенность.

Сергей задержался, пока мамаша Баратова выбирала сухарик.

Хозяйка дома заливалась, как канарейка:

— Ах, Флоренция! Микеланджело! Это... как говорится... мощь духа... Его сибиллы и пророки в Риме, во дворце святого отца папы — Ватикане и в Сикстовой капелле! Но Рафаэль ближе моей женской душе. В нем — нежность! Его мадонны... Ах, его мадонны! Вы бы показали наше последнее приобретение, Пьер.

— Да, да, мой друг, весьма удачная копия, — вскочил Благово.

Елизавета Ивановна тоже встала.

— Не хотите ли взглянуть на нашу картинную галерею?.. Шоколад нам принесут туда. Серж! Ах, да... Между прочим, мы владеем собственным «Рафаэлем», учившимся в академии и получившим медаль. Вот адресую: мой выездной лакей, Поляков. Его картина «Отдыхающий Геркулес» не сегодня-завтра будет тоже повешена в галерее.

Гости шумно обернулись.

Машенька подняла голову, и легкий вскрик ее смешался со звоном выпавшей из рук чашки. Она замерла, как пораженная столбняком, побледневшая, не замечая забрызганного шоколадом платья.

Мать зашипела на нее:

— Какая неловкость! И все это твоя нелепая задумчивость последнего времени! Это становится просто неприлично!

Елизавета Ивановна сочувственно обняла Машеньку:

— Не огорчайтесь, дружок, осколки сейчас уберут, а ваш наряд приведут в порядок... Серж, проводи барышню в мой будуар и позови Марфушу. — И отошла к группе гостей, приготовившихся любоваться картинами.

— Картинная галерея — это так модно!

— Скажите, лакей и вдруг — художник!

— Простой мужик, а смыслит в искусстве? Удивительно!

Голоса замерли в конце анфилады комнат. Раздосадованная мамаша Баратова уплыла, увлеченная общим любопытством.

Машенька стояла лицом к лицу с Сергеем и, прижимая руки к сердцу, шептала:

— Сережа!.. Как же это?.. Сережа!..

Он не отвечал. Что мог он сказать?

Машенька разом поняла все: его неожиданное исчезновение, ужас его судьбы, безвыходность их положения, их любви, их будущего. Значит, академия не дала ему свободы? Лишила одного из своих лучших учеников равноправия, славы, любви, счастья? Не защитила его таланта? Не уберегла? Может быть, сама столкнула вниз, в лакейскую?..

Машенька вдруг вспомнила: дядя Федор Петрович говорил о новых порядках в академии. Сережа, будущая знаменитость, которым гордилась ее родина, ее жених, ее веселый любимый друг, на всю жизнь — крепостной. Его могут продать за деньги или обменять, как вещь, как домашнее животное...

— Сережа!.. Сережа!..

Сергей подобрал осколки, вытер тщательно пол и, пряча лицо, выбежал из гостиной.

Вторая бессонная, полная отчаяния ночь в постели под белым кисейным пологом. Днем нудный разговор с матерью о том, что жизнь дорожает, что выезды стоят слишком много денег, что покойный генерал Баратов оставил жене и дочери не по их достоинству ничтожный капитал и маленькую деревеньку, почти не дающую дохода. Обведенные синими кругами заплаканные глаза Машеньки, ее нервность, ее непонятная тоска — все это никуда не годится. Все это надо изменить, и как можно скорее. Правда, Машенька еще очень молода. Но что делать?.. Обстоятельства требуют поторопиться: пристроить ее. И такая удача — как раз подвернулась блестящая партия: барон Ребиндер, из остзейских аристократов. Он хоть и пожилой, но еще крепкий мужчина и весьма воспитанный. Мать не допустит отказа — пусть девчонка и не воображает упрямиться. Все эти старые деревенские ухватки необходимо раз навсегда забыть. «Не выйду без любви!» Скажите!.. Какая там любовь, когда скоро придется выезжать в расшлепанных туфлях и заштопанных перчатках! Девчонка дура, и больше ничего!

— Ах, маменька! Неужели вы ничего, ничего не понимаете?..

— И не хочу понимать.

Машенька билась в неслышных рыданиях. Потом слезы разом высохли. Девушка села на постели, задумалась.

В углу у киота мигала зеленым огоньком лампадка, освещая лик Христа старинного письма, привезенный из деревни вместе с другими привычными вещами. Все, как в детстве: полог, лампадка, киот... Только сама она уже не ребенок. Никто, даже дядя, не может ей помочь. Она узнала: он ездил хлопотать о Сереже к Благово, долго разговаривал с Иваном Андреевичем Крыловым, ведь тот близок в делах с президентом академии. Все напрасно. «Сережа, как щепка, попал в общий водоворот», — сказал дядя. И он не один в таком ужасном положении.

Но для Машеньки он — единственный, лучший, самый достойный счастья. И самый обездоленный... Если ему никто, никто в целом мире не может помочь, то поможет она — его подруга, невеста, будущая жена. Она поможет ему и себе. Завтра же, когда маменька уедет с визитами, она притворится больной и...

Наступило завтра. Сквозь оконную занавесь забрезжил свет. Первый солнечный луч зажег золотом тяжелые оклады икон, скользнул по прозрачному пологу, по простыне и коснулся бледного девичьего лица.

Машенька глубже зарылась в подушки и до подбородка натянула на себя одеяло.

Когда пришла горничная, она сказала ей:

— Я больна, Малаша. Ты доложи маменьке, что у меня голова болит и я не встану. А потом я тебе секрет открою. Тебе одной. Хочешь?

Малаша — охотница до секретов. Она, разрази ее господь, никому не скажет! А тут барышня, хоть и болит у нее головка, обняла ее к тому же за шею. Стала целовать и приговаривать:

— Малаша, милая моя! Помнишь, как в деревне мы с тобою пробрались на посиделки? А ты после с Васькой домой шла, и он тебе дал жамочков¹. Ты меня потом ими угощала... Помнишь? Помнишь? Вася-то еще не сватал тебя?

Как от таких речей и поцелуев не размякнуть сердцу деревенской девушки!

— Проказница-барышня! Уж и сватал...

— А я тебе секрет поведаю, самый тайный, самый сердечный... И кое о чем попрошу... Исполнишь?

— Вот крест, исполню. Хоша бы в огонь, и то за вас пойду!

— Ма-шенька! — раздался властный зов матери.

Машенька закрыла глаза и притворилась спящей. Малаша на цыпочках пошла к двери и шепнула входившей барыне:

— У барышни головка ужаси как болит. Весь день, говорят, будут лежать. Ты меня, говорят, не тревожь и маменьке так доложи.

¹ Ж а м о ч к и — пряники.

...Елизавета Ивановна только что кончила свой сложный туалет, когда Марфуша сказала, что ее спрашивает барышня.

— Кто такая? — поморщилась Благово. — Верно, бедная какая-нибудь? Передай, что для благотворительности я определила субботы.

— Да нет же, это настоящая барышня и одета даже очень хорошо. Да та самая, что третьего дни платье себе шикалатом забрызгали.

— Ах, Мари Баратова! Одна?

— Одни-с. Как есть одни-с.

— Что за таинственность? Интересно! Проводи барышню в маленькую гостиную и скажи, что я сейчас выйду.

Елизавета Ивановна появилась, как всегда, томная, с подчеркнутой грацией, с нежностью в голосе, но с острым любопытством в глазах.

— Вы, Мари? Что случилось, дружок? Где ваша милая татап?

Машенька вспыхнула и заговорила горячо и быстро:

— Я знаю, это час — не для визитов... И маменька не подозревает, что я у вас... Я очень прошу, не говорите ей о том, что я приходила...

Машенька оглянулась.

«Как она боится, однако, свою фурию-мать!» — подумала Благово.

А Машенька торопится высказаться, страшась только одного — встречи с тем, ради кого она решила на этот необычный шаг. Что, если Сережа вдруг войдет сюда, и ему, как в тот раз при гостях, прикажут услужить ей — барышне, дворянке?.. Унизят его снова? Причинят невыносимую боль при ней — его невесте?..

И Машенька судорожно схватила унизанные кольцами руки Елизаветы Ивановны. Полная отчаяния и мольбы, она прошептала:

— Я прибежала к вам тайком... У меня так мало времени, а надо столько сказать, чтобы вы поняли меня... сердцем поняли...

Она передохнула, стараясь перебороть подступившие слезы. Потом тихо проговорила:

— Я люблю Сергея. И он любит меня.

Елизавета Ивановна всплеснула ручками:

— Неужели моего кузена Сержа Римского-Корсакова? C'est charmant!.. Действительно, он недавно приезжал в Петербург. О, маленькая кокетка! Но что ж тут удивительного? К чему вся эта таинственность?.. К чему эти милые слезки? Я рада помочь, душечка, чем могу такой очаровательной паре, как вы и мой кузен.

Машенька отшатнулась и покачала головой. Как объяснить свою любовь не к московскому дворянину, а к крепостному «мужику», как их называют?

— Его мать, — продолжала Благово, — тетюшка Мария Ивановна — дама хоть властная и любит командовать, но обожает своих детей. Если молодой человек захочет, он всегда устроит все доброй манерой... Впрочем, — она засмеялась, — я могу послать ей картель¹ и сделаться вашею... свахой. Да, да, настоящею свахой!

¹ Картель — письмо.

Град поцелуев осыпал бледные щеки Машеньки.

Девушка с трудом проговорила:

— Вы меня не поняли... Это не Римский-Корсаков. И все зависит только от вас одной: все мое счастье, будущее, жизнь... Он — художник.

— Художник? — протянула Елизавета Ивановна. — Но кто же, милочка, кроме вашего добрейшего дядюшки, может быть таким чудачком, чтобы решиться вступить в круг разночинцев?

Машенька теряла почву. Как сказать о Сергее, когда его не считают даже за человека?

— Умоляю вас, будьте снисходительны!.. Не осуждайте нас... и помогите...

— Ах, моя прелесть! Осуждать — великий грех. Скажу вам по секрету: я ведь сама, представьте, любила... то есть мне казалось, что я любила. Но будущее надо видеть, как в зеркале, говорят опытные люди. Увы, я питала некие сладостные чувства к одному молодому повесе, но у него не было ничего. И я, как видите, не сделала опрометчивого шага. Если ваш *chevalier*¹ тоже беден, о браке нечего и думать.

— Я люблю вашего художника Сергея Полякова, — со стоном проговорила Машенька.

— Кре-пост-но-го?!

Елизавете Ивановне показалось, что она ослышалась.

Машенька не узнала ее голоса:

— Вы шутите, мадемуазель Баратова?

— Вы его не знаете, хоть сн и принадлежит вам. У него талант, у него доброе, ласковое сердце. Он образованнее многих дворян. Перед ним была карьера. Его ценили в академии. Мы мечтали вместе уехать в Италию и быть счастливыми всю жизнь. Мы так подходим друг к другу. Оба любим природу, красоту, правду... Если бы вы все знали, вы бы поняли нас и отпустили его на волю...

Голубые темные глаза Елизаветы Ивановны стали вдруг холодными и колючими.

— Вы так описали, мой друг, что я начинаю действительно дорого его ценить.

— О, я выкупаю Сергея, если это надо, — схватилась за новую мысль Машенька. — Я продам мои фамильные драгоценности!..

Благово рассмеялась:

— Oh, comme c'est drôle!² Вы фантазерка! Ваши фамильные драгоценности, но что они стоят?.. И вообще, на что вы рассчитываете в будущем, ежели бы даже мы и согласились отпустить нашего лакея? «С милым рай и в шалаше»? Так?

— Не совсем, Елизавета Ивановна, — перебила Машенька пылко. — Он писал портреты, будучи учеником. Талант лучше, почетнее капитала. — Вы слишком долго прожили в деревне, Мари, и привыкли иметь дело с... мужиками, — передернула плечами Благово. — Вас надо по-христи-

¹ Рыцарь (франц.).

² О, как это забавно! (франц.).

ански просто пожалеть и уберечь от диких фантазий. Крепостной лакей! Слава богу, их всех наконец-то выбросили из академии, этих грязных холопов! Они, говорят, были заразой для остальных...

Машенька готова была закричать.

— Мари, — продолжала Елизавета Ивановна наставительно, — я хочу окончить наш странный разговор. Я замужняя дама. Я веду дом, хозяйствую, забочусь о муже и должна не расточать, а умножать богатство в своем гнезде, которое послал мне господь. Это мой христианский долг. Отпустить такого ценного лакея, как Поляков, нам с Пьером не-вы-год-но. Понимаете? У нас не кончена еще роспись особняка. Картинная галерея требует специального человека. В желтой гостиной я хочу переписать заново плафон.

— Сергей может дать вам подписку, что он обязуется расписать вам все бесплатно. И картинную галерею, и плафон, и все, все, что вам будет угодно!..

— Что вы говорите, Мари? — холодно отчеканила Благово. — Неужели мы с Пьером допустим, чтобы лакей — наш холоп — давал какие-то «подписки»? По закону он принадлежит нам. Он наша собственность, как вот эта диванная подушка или иная вещь. Он обязан и так делать нам все бесплатно.

Стиснув зубы, Машенька спросила:

— Сколько же он стоит, Елизавета Ивановна? Я, может быть, найду такую сумму... займу... попрошу...

Благово расхохоталась:

— Да вы меня утомили! Неужели вы серьезно? Нет, это просто анекдот! Веселый фарс! Вы хотите... купить себе... в холопы мужа?

Машенька посмотрела на нее сухими, воспаленными глазами.

— Это уж мое дело, — сказала она вдруг спокойно, — холопа ли мне покупать в мужья или дурака с денежным мешком и титулом.

Наступило молчание. Елизавета Ивановна встала.

— Пора кончить эту беседу, мадемуазель. Мое последнее слово: лакея я не продам. Если он талант, то таланты нам нужны самим.

3

ДЕРЕВЕНСКИЙ «ВОЯЖ»

Ранней весной господа Благово вместо «вояжа» в Италию поехали в подмосковное имение своих родственников Римских-Корсаковых в Дмитровский уезд. Елизавета Ивановна ожидала ребенка. Ее здоровье требовало, по мнению домашнего врача, особой заботы и покоя. Господа брали с собой среди других холопов и Полякова.

Сергей был рад попасть в места, где неподалеку родился и вырос. Он хорошо помнил все эти неприхотливые холмы, луга, опушки с белыми стройными березами и трепещущими листвою осинами. Помнил рощи и перелески, бурливые ручьи и овраги среди мохнатых елей, с неведомыми лес-

ными речонками. Любил он и колокольный звон Николо-Пешковского монастыря, говоривший о праздничном отдыхе, когда господа отпустят казачка Сережку поудить рыбу или наловить раков. С господами он часто бывал у соседей Римских-Корсаковых. Петр Андреевич Благово звался тогда еще Петенькой. Был он вялым подростком, благонаравным и покорным, отчего и пошел не в военные, а определился в Коллегию иностранных дел. А когда женился, вместе с земельными угодьями, получил от папеньки крепостных, в том числе и бывшего казачка Сережку.

Казачок Сережка рисовал с тех пор, как себя помнил, рисовал все, что видел: избу, сарай, цветы, кувшин с молоком, собаку, старую ключницу... А раз нарисовал Николо-Пешковский монастырь, «как всамделишный». И Саша Римская-Корсакова показала рисунок Андрею Семеновичу Благово. Старый барин решил поучить Сережку сначала у местного богомаза, а потом, пятнадцатилетним, отправил в столицу — в академию.

Сергей вспоминал Сашу Римскую-Корсакову тепло и радостно. Когда-то он забавлял ее, делая из картона пляшущих паяцев, кивающих головами китайцев, петухов, крутящиеся мельницы. Позднее рисовал ей в альбомы меланхолические пейзажи. Она ему платила ласковой приветливостью и простотой.

Он думал о ней с особенной нежностью:

«Ей уже шестнадцать лет. Небось выросла, возмужала. А была, точно гусенок, долговязая, с длинной шеей и длинными руками. Только глаза по-прежнему большие, черные, сверкающие, и в них — вся душа нескладной милой девочки».

На его письмо еще из академии она, правда, так и не ответила. Но теперь он сможет объяснить ей все, расскажет об ужасе создавшегося положения. Она поймет, постарается помочь. Она упрямая, своевольная.

После долгого медленного пути с остановками на ночь приехали в Москву. Вторая столица встретила звоном пасхальных колоколов и золотыми маковками бесчисленных церквей. Ее миновали и покатили прямо в деревню.

Потянулись знакомые места: ржавые кочковатые болотца с топким мохом и смолистыми побегами ельника; бесконечные пески и молоденькие сосны в желтых весенних «свечках»; каменистые безымянные речонки у крутых скатов... Наконец поплыл долгожданный Николо-Пешковский звон. Как встарь, на вышке монастыря виднелся звонарь, раскачивающий веревку. И особенно ярко напомнил Сергею детство: издали колоколья всегда казалась похожей на голову великана, а двигающаяся в прорезе окна фигура — на подмигивающий глаз. А вот и запруда с мельницей; вот — песчаная коса, где Сергей купался когда-то...

Сидя на козлах, он чувствовал, как теплая волна приливает к сердцу. Ему хотелось соскочить на землю и обежать родные места...

Знакомая рощица. На пригорке, у вырубленных пней, росла тогда земляника. Теперь пней не видно, их закрыла буйно поднявшаяся ярко-зеленая поросль.

Пронзительный крик спугнул воспоминания:

— Е-ду-ут! Е-ду-ут!..

Деревенская девушка, махая руками и истошно крича, сбегала с ко-согора. За ней появилась нарядная барышня в белой кисее и светлой шляпке.

— Боже мой, да это Саша! Совсем взрослая.

Карета остановилась. За нею — дормез с прислугой и багажом. Саша подбежала и просунула голову в окно кареты. Послышались поцелуи, восклицания, томный голос Елизаветы Ивановны:

— Ах, кузиночка! Ах, Пьер! Я умираю от усталости...

— Здравствуйте, Лизонька! Здравствуйте, кузен Петенька! Маменька совсем вас заждалась. А я бегая встречать каждый день.

Сесть в карету Саша отказалась и побежала по дороге домой, наперегонки с горничной Дуняшей.

Дом большой, старинный, построен из толстого дуба, а низ — каменный. Множество подклетей и боковуш.

Мария Ивановна Римская-Корсакова приняла приехавших родственников в спальне с огромной прародительской кроватью под бархатным пологом. Она была в капоте и папильотках. Ее полное лицо украшали властные и такие же большие и черные, как у Саши, глаза.

— Уж не взывайте, племяннички, неможется. Люблю к тому же и понежиться. В Москве, по зимам живучи, здоровье растерять нетрудно. А у меня хлопот полон рот, чтобы выводок дочерей пристроить. Сбросила, слава богу, мужья на руки старших. Теперь две меньшие остались... Катеньку не хитро определить. А Саша у меня стрекоза мудреная, ей по вкусу не скоро подберешь. А тебя, душа моя Лизонька, я здесь на парном молочке скоро отпою...

— Фи, ma tante¹, пар-ное-е моло-ко-о! — скривила ротик Елизавета Ивановна.

— И не думай отпираться, матушка. Я век прожила и других уму-разуму учила. Не растрясло ли тебя, свет мой?

— Ужасно растрясло... Ужасно!..

— Ну поди отдохни. Саша проводит вас в ваши комнаты. Туда им и завтрак вели подать, Александрин. Уж не взывайте, что не сама: у меня с ночи вертижи в голове. И хрен нюхала — не помогает.

В комнате действительно пахло хреном и уксусом.

— А ты, Пьер, тощий, как трость. Не годится. У вас, поди, в Питере и едят недосыта — талию берегут. Я по-московски правду-матку в глаза режу. Да не целуй руку, не благодари, еще не за что. Мой хлеб-соль впредь. А с жены глаз не спущу. У меня будет здоровья и наследника принесет фунтов двенадцати весом.

— Мы так признательны с Лиз, ma tante!

Пьер нагнулся и снова облобызал пухлую руку. Пропустив жену впе-

¹ Моя тетя (франц.).

ред, он вялой походкой петербургского фата последовал за Сашей. Под ними зашкрипели половицы, покрытые дорожками.

Елизавета Ивановна шепнула мужу:

— Какой старый дом! И какой странный запах!

Саша не то услышала, не то догадалась и заговорила своим веселым низким, как у матери, голосом:

— Пахнет, кузиночка, немного плесенью, немного старым деревом, а может быть, и мышами. Но я люблю этот запах, потому что люблю деревню и этот старый милый дом.

— Надо жець ароматические бумажки, — изрек наставительно Пьер.

— Ну что вы, кузен! Французские бумажки — в деревне! Будет похоже на ладан. Сюда, сюда, направо!

Прошли залу с картинами в золотых потускневших рамах, гостиную с голубовато-зелеными ландшафтами и пальмовой мебелью, обитую черной кожей с золотыми гвоздиками. Все старомодное, прочное, ветхозаветное. Елизавета Ивановна уже начала жалеть, что приняла приглашение. Вообразить только, какая ожидает скука!.. Как жаль, что родители ее на теплых водах, за границей, а у Пьера родители умерли. Оставить же себя теперь «без присмотра» она не решалась.

Прошли огромную столовую с дубовыми панелями. Саша пробовала утешить гостью, заметив на ее лице разочарование:

— Знаете, кузиночка, хоть у нас и очень большая столовая, но случается, в ней едва помещаются гости. По воскресеньям бывает человек тридцать. А в именины и праздники им просто счета нет.

Обед тяжелый, с московско-деревенскими кушаньями. В граненых графинах, как повелось от дедов, всякие квасы. Зычный голос Марии Ивановны, несмотря на вертижи, слышался по всему дому. За обедом она сидела на председательском месте и гудела:

— Учись, Пьер, у стариков уму-разуму. Здесь все у меня прочно и живет век. Видишь: стены затянуты холстом и расписаны краской на клею еще при отце покойного мужа, а свежи, будто вчера сделаны. И драпировки малеваны домашними мазунами.

Стоя за спинкой стула своей барыни, Сергей угрюмо подумал: «К этим домашним «мазунам», малевавшим пряничных лошадей и людей-головастики в напудренных париках, причислят, конечно, и меня».

И, как бы в подтверждение, барин небрежно проговорил:

— У меня свой такой имеется, тетенька. Адресую, вот он налицо, — бывший казачок Сережка.

— Это не Степаниды ли сын? Я его и не узнала — молодцем разделался, — кивнула Сергею Мария Ивановна. — А в тебе, дружок Петенька, есть, как я погляжу, хозяйственная сметка. Сережка у тебя — на все руки. И живописец, и камердинер, и выездной, и официант. Саша мне еще зимой о нем все уши прожужжала... Нет, мои не так искусны. Лизонька, ты бы взяла еще индейки. Кушаешь мало — какого наследника родишь?

Елизавета Ивановна с удивлением косилась на простой фаянсовый сервиз. Сашенька, уловив взгляд столичной гостьи, улыбнулась и подмигнула сестре. Но благовоспитанная Катенька опустила только ресницы.

Голос Марии Ивановны покрывал все звуки:

— После обеда соснуть надобно. А завтра Саша вам все покажет: и лес, и пруд, и речку. Мою-то смиренницу не вытащишь, от рукоделья не оторвешь. А Саша — головорез. Я ей иной раз и пропозицию прописываю... Отдыхаю телом и душой здесь, дорогие мои. В Москве замучили балы со спектаклями. Верчусь там, верите ли, без передышки. Все дни, бывало, разобраны: четверток — у Льва Кирилловича Разумовского, пятница — у Степана Степановича Апраксина, по воскресеньям — у Архиповых... А своих дочерей-то замужних сколько! Да и у себя — балы, вечера, обеда... Мученье!

Гнедка оседлали под дамское седло. Одновременно выехал и кабриолет с кучером.

Седло, годное для катанья, — одно. Когда старшие барышни Римские-Корсаковы повыводили замуж, другие седла сложили на чердак, и их поели мыши. Саше и горничной Дуняше обоем хочется скакать по лугу карьером. Дуня ближе сердцу Саши, чем разные «кузиночки» и московские подруги. Да и маменька не перечит этой дружбе. Дуня в барском доме «на посовушках» еще с детских лет. А теперь Мария Ивановна без нее не может, казалось, дышать: чай ли пьет по утрам в спальне, подает Дуняша; к обеду ли ездит в монастырь, — тоже с Дуняшей. Дуня научилась даже понимать французскую речь и сама пересыпает разговор французскими словечками. Дуня — хохотушка и ловкая помощница всяких затей Саши.

Выехали: Саша — на Гнедке, Дуня — в кабриолете. Дуня сама правит, а кучер, с кнутом за поясом, торопится сзади. Но едва заехали за пригорок — стоп. Дуняша уже — на Гнедке, а Саша — в кабриолете. Носятся по лугу, меняются местами, смеются.

Сергей все это видел и понял, что Саша осталась такой же простой и милой шалуньей, какой была ребенком. Он слышал, как Дуня, метнув на него мимоходом стрый взгляд, шепнула барышне, как ровне:

«Жоли гарсон!»¹

И он решил просить Дуню устроить ему встречу с Сашей.

Саша пришла в беседку в условленный час. Цвела сирень, и грозди ее прорывались через разломанную решетку. Кругом все было голубое, и лицо Саши в лунных лучах казалось бледным и неясным. Одни только цыганские глаза словно горели.

— Вот и я! — вошла она, запыхавшись от бега и обмахиваясь веткой белой сирени. — Дуняша сказала, что ты хочешь меня видеть, Сережа. И я рада повидать тебя одного. — Она засмеялась. — Я ведь все, все по-

¹ Красивый мальчик! (франц.)

мню — прежнее, детское... Только теперь мне уж не так интересны пляшущие паяцы и китайцы. А жаль! Ты их так замечательно вырезал из бумаги. Теперь не то! Ты говори мне скорее. — Она насупила брови и стала почти серьезной. — Я занята сегодня. У маменьки опять вертижи и спирает дыхание. Она приказала Дуняше поставить банки, а мне — спать в ее комнате. Ох, Сережа, и надоели же эти вертижи, если бы ты знал!

Сергей собрался с духом и начал:

— Александра Александровна... я решился, памятуя о детских годах...

Она засмеялась:

— Сережа, ты так говоришь, точно боишься.

— Я теперь всего боюсь, Александра Александровна, — опустил он голову. — Вот вы сб игрушечном паяце вспомнили. А мне самому пришлось превратиться в паяца...

— Да в чем дело? Говори! Я ведь ничего не знаю о тебе.

— Я писал вам...

— Представь, твое письмо маменька куда-то затеряла, а Дуняша его на папильотки потом разорвала. Только один конверт до меня и дшшел — такая жалость!

Сергей заговорил захлебываясь, слова не поспевали за мыслью. В коротких, отрывистых фразах он рассказал свою историю, поведал о крушении всей жизни.

Глаза Сашеньки засверкали от негодования. Машенька Баратова — невеста этого красивого юноши в лакейской ливрее! Что, если бы она сама была на месте этой бедняжки? И бывший казачок, старый приятель детства, сразу показался ей и выше ростом и значительнее. В красивом лице его она прочла «возвышенный ход мыслей» и «печать незаурядного таланта».

— Неужели кузен с кузиной не хотят дать тебе вольную?

— Не хотят.

Она подумала.

— А если бы ты был вольный, ты бы кончил академию, получил диплом и тебя пустили бы за границу?

— Непременно.

Саша нервно ощипывала цветы сирени.

— А она... Машенька... тоже крепко тебя любит?

Он упал перед нею на колени и, забыв долги годы разлуки, взял за руки и горячо забормotal:

— Сашенька! Единственная вы моя надежда... Я знал, что вы меня поймете... Чутким сердцем отзоветесь...

Потом, разом вспомнив, одернул себя:

— Господи, что же я гсворю? Простите, барышня...

Она ласково улыбулась и провела рукой по его волосам:

— Почему же не «Сашенька», как прежде? Может, мы еще и породнимся через Машеньку и дядю Федю Толстого. Глупый! Ведь я, Сережа, твой друг.

Она встала и отряхнула с платья лепестки.

— Ну вот что, — проговорила она, — клянусь самыми заветными моими желаниями: сделаю все, что можно. Я тебе помогу. И вот залог!..

Саша сорвала новую ветку и, протянув Сергею, проговорила торжественно:

— Сирень не успеет еще завянуть, как я все устрою. Впрочем, — добавила она, — ты поставь ее все-таки в воду, чтобы она подольше... не завяла. Да вот еще, скажи: ты на балах танцевал, в обществе был принят, значит, и образованность имеешь? Много читал?

— Много.

Она задумалась.

— А о Шекспире слышал?

— Шекспира читал в переводе, а Мольера — в подлиннике.

— По-французски?!

— По-французски. И спектакль видел.

Сашенька всплеснула даже руками:

— Счастливый! А мне маменька Шекспира и Мольера читать не позволила. И в театре я была всего раз. До шестнадцати лет светских барышень в театры и на балы не вывозят.

— Са-а-ша!.. — донесся с террасы голос Марии Ивановны.

— Зовут! Конечно, образованному человеку, читающему Шекспира и Мольера, никак нельзя быть лакеем. Это просто... глупо и неприлично! Ну так слушай. — Она перекрестилась. — Вот тебе крест, что, если бы меня маменька посватала помимо моей воли, я бы ни за что не пошла к венцу. Так должна поступить и твоя Машенька. Прощай! Через Дуняшу я назначу тебе свидание.

Она скользнула в дверь, и гравий зашуршал под ее быстрыми ногами.

Улыбаясь, Сергей спустился на скамейку, ему так хотелось верить в могущество Саши.

4

ШАХ И МАТ

В спальне, слабо освещенной мигающим огоньком красной лампадки, тихо. На мягком расшитом коврике стоит на коленях Мария Ивановна и кончает свою вечернюю молитву:

— Господи, спаси и сохрани... Сыновей моих сохрани — раба твоего Григория и раба твоего Сергея. И всех сродников, господи. Пресвятая владычица-скоропомощница, святой Пантелеймон-целитель... Саша, подними меня — сама не могу. Так... Дуняшка, туфля спала. Да потри ноги, опять отекали. Ты сегодня банки не ставь. Я отменила. Ну, что жмешься, как котенок, Саша? Ступай к себе, небось не хочется со старой матерью спать?

Дуняша терла барыне ноги, а Саша ластилась:

— Вот и нет, маменька. Хочется у вас на диванчике, как маленькой, поспать. Позволите? Маменька, душенька моя, позвольте!..

— Подумаешь, большая выросла! А давно ли в саду обруч катала да в скакалку прыгала? Ну чего, чего, лиса патрикеевна, липнешь?.. Постели барышню на диване, Дуняша.

В басистом голосе — нежность. Саша торопливо целовала крупную материнскую ладонь. Дуняша постелила на диване. Потом раздела барыню, разделла барышню и вышла.

Мать и дочь лежали молча. Лампадка мигала, и, казалось, темный лик богородицы, в богатой золоченой ризе с жемчугом, кивает им из киота. За окном слышалась однотонная трещотка сторожа. Когда она замолкла, в спальню через полуотворенное окно ворвался немолчный стрекот кузнечиков. В кустах перекликались соловьи. Из-под загнувшегося края штофного занавеса лунный луч падал голубой полосой на пол, пробирался к пышной кровати, заглядывал Марии Ивановне в лицо.

— Маменька, спите?

— Не сплю. Думаю. Забот у матери разве мало? О Гришиной судьбе мечтаю... и боюсь. Очень уж горяч сынок, а это в жизни мешает. О тебе думаю: нынче вывозить тебя придется много, наряды шить. Ох, заботы! Заботы!..

— А можно к вам в постель, маменька?

— Иди, что с тобою поделаешь. Только, как жарко станет, прогоню на диван. Ишь, кошечка ласковая!

Саша скользнула к матери в постель, под легкое пуховое одеяло, пахнущее лавандой, и, уткнувшись в шелк, прильнула к могучему телу матери.

— Ох и хитра же ты, матушка! Чую: чего-то просить собираешься, — смеялась Мария Ивановна.

Саша тоже засмеялась:

— А вы умны, маменька, — людей насквозь видите!

— Еще бы мне дочку родную насквозь не видеть! Ну рассказывай сразу: что надо?

— Ах, маменька, и не знаю, как начать... Я насчет Сергея-художника.

— Это насчет Сережки-лакея? И не думай, — своих мазунов хватает. А ежели портрет хочешь ему заказать, ужли Лизонька не позволит?

— Да нет, маменька, не то. Я хочу выкупить Сергея на волю.

Мария Ивановна приподнялась.

— Что ты только выдумываешь? Продаст ли его Лиза? Она ныне на доморощенных Рафаэлях помешалась. Такой тон задает, страсть! Сказывают, при дворе на художества мода. Ну и наша туда же тянется. А у меня расходы на детей, где мне твои причуды тешить? Вон одних Гришиных картонных долгов сколько надо покрыть... А зима с балами? Выезды, обеды... О господи! И сколько вам на одно приданое отложить надобно. Будешь хозяйкой, узнаешь, как вести дом.

Саша стала опять целовать руки матери.

— Маменька... дорогая... продайте мой браслет бабушкин. А если мало, и ожерелье с алмазиками...

— С ума спятила, матушка! Это к чему же?

— Сергея выкупить.

— И думать брось. С ума сошла, право, сошла! И что только в твоей голове бродит?

— Ну хотите, маменька, я всю зиму ни одного раза ни на бал, ни в театр не попрошусь? И в именины мне ничего не дарите, и гостей в именины не надо. Не сошла я с ума! А вы добрая, очень добрая... Вот слушайте: Сережа любит Машеньку Баратову, а Машенька любит Сережу. Они хотят жениться и уехать в Италию. И Сережа прославит Россию...

— Холоп, без чинов, без столбового дворянства, Россию прославит? — Возмущенная Мария Ивановна спустила ноги с кровати. — Ну и дура! Какие-такие дворянки замуж за холопов выходят? Надо бы мне матери девчонкиной написать, чтобы глупость из головы дочки выбила. Ах, позор, срам какой!..

Саша, хватая мать за руки, бормотала:

— Маменька, не пишите! Я же вам по секрету! И они еще не женились! И Сережа не получил вольную!..

— И не получит, будь благонадежна. Да ты не егози, рук попусту не целуй. Никому я ничего не напишу, никому не скажу, а срамному делу потакать не стану. И тебе брильянтами фамильными распоряжаться не дам.

Саша припала к материнскому пышному плечу и лукаво шепнула:

— А если я украду брильянты, маменька?

Бас Марии Ивановны загудел грозно:

— Ну вот что я тебе скажу раз и навсегда, Александрин... — Римская Корсакова называла так дочь, когда сердилась. — Слушай. Я испокон много твоих шалостей терпела. Сквозь пальцы смотрела, как ты с холопами возилась. Ой и много у тебя причуд было с самых детских лет! Посю пору помню, как два года назад ты задумала помочь мужикам-погорельцам. Ты попросила для них столько, что я ахнула. Так пристала, что я и придумала: ступай ночью на кладбище, к могиле блаженного Митрофана, — получишь деньги. Думала, побоишься.

— А я разве не пошла, маменька, побоялась?

— Ох, пошла, своевольница!.. Четырнадцатилетней девчонкой пошла. И камень с могилы принесла, и платок свой на ней оставила, чтобы поверили. Его за тобой лакей принес. Я лакея охранять тебя незаметно послала.

— А я его не видела и ни чуточки не боялась.

Мария Ивановна любовно провела по черным шелковистым локонам дочери.

— Аника-воин бесстрашный, — сказала она со вздохом. — И что с тебя будет? Растешь, барышня, скоро под венец бы надо. На новую твою срамную затею не дам ни копейки, так и знай. А теперь ступай к себе. Не надо мне такой глупой дочки. Разволновала только, всю ночь не засну. Пошли мне Дуняшку.

Саша слезла с пышных перин, надела халатик и, понутив голову, вышла. Мария Ивановна крикнула ей вслед:

— Пусть Дуняшка соль мне подаст и уксус «четырех разбойников». Уморите вы меня!..

Саша не рассчитывала больше на мать. Она придумала новый план.

С утра стала ухаживать за супругами Благово, особенно за кузеном. Ездил с ним верхом, терпеливо выслушивала рассказы об его успехах в свете и попросила научить играть в шахматы.

Петр Андреевич играл в шахматы неважно, но игру очень любил. Саша оказалась внимательной и способной ученицей. И скоро Благово сказал жене:

— Знаете, Лиз, в этой смертельной скуке единственное развлечение — играть в шахматы с маленькой кузиной. Жду не дождусь, когда мы покинем это старое дупло.

Елизавета Ивановна подтвердила:

— Вот именно старое дупло. Удивительно удачное сравнение!

Играя в шахматы, Пьер удивлялся. Право смешно: девочка начнет скоро его обыгрывать. А Саша упорно, по целым часам, сидела одна над шахматной доской и упражнялась.

Дуняша она говорила:

— Если бы ты знала, как я ненавижу это сидение с противным Петенькой!

— Так зачем сидите, барышня?

— Молчи, так надо. Говорить боюсь: не взглянуть бы. А если выйдет дело, перецелую обоих дурацких королей, коней, ферзей и даже все до одной пешки!

Наконец Саша решила, что она достаточно подготовлена. Прищурившись и лукаво улыбаясь, девушка предложила Благово:

— Кузен, хотите партию «всерьез», на что-нибудь?

— На что, кузиночка?

— А discrétion?¹

— Хорошо. А вдруг я выиграю и потребую у вас неисполнимого?

Она пылко отвечала:

— Конечно, все, что в пределах возможного, Пьер. Ведь вы же не можете потребовать, чтобы я подарила вам дворец.

— Зато могу потребовать вашего любимого Гнедка. Или чтобы вы вообще никогда не садились в седло. Или чтобы никогда не танцевали...

Глаза Саши засверкали.

— Я всегда честно держу слово, кузен.

Сели играть.

Успех клонился сначала на сторону Саши. Но она сильно волновалась и начала горячиться, делать неверные ходы. Руки ее дрожали. Из-под сдвинутых бровей горели глаза. Шахматные фигуры упорно, одна за другой, стали исчезать с доски и ложиться на стол возле Благово. Саша бледнела и задыхалась.

— Шах... и мат, кузиночка! — изрек наконец Благово. — Я выиграл.

Саша в отчаянии вскрикнула и закрыла лицо руками. Из глаз ее брызнули слезы.

¹ Держать пари на что угодно (франц.).

Благово поспешил уверить:

— Успокойтесь, Александрин, я ничего не потребую. И вашего Гнедка мне совсем не надо. Успокойтесь!

Саша убежала, громко рыдая. В темном коридорчике она встретила Дуняшу и кинулась ей на шею:

— Ах, Дуняша, я была так уверена, что выиграю вольную для Сергея!

Тянулись дни за днями, серые и нудные, один как другой. Сергей продолжал «служить» за столом и на «запятках», чистить платье и ботинки, одевать и раздевать барина, разжигать ему трубку, исполнять поручения барыни.

Елизавета Ивановна говорила мужу:

— Меня раздражает, Пьер, когда я вижу возле себя унылую физиономию. Это действует мне на нервы!.. А мне это теперь вредно.

— Ах, дорогая, все это от вашего слишком чувствительного сердца.

— Вы заметили, — продолжала Елизавета Ивановна, — Сергей ходит... как бы сказать... точно вернулся с похорон. Это еще больше усугубляет здешнюю скуку.

— Хотите, я ему подарю что-нибудь, Лиз?

— О нет, это его не развеселит. Он — человек молодой, а молодым нужны развлечения. Конечно, крепостным — иные, чем нам.

— Вы всегда правы, дорогая.

И Елизавета Ивановна приказала, чтобы Сергей по праздникам ходил на деревню, где молодые парни и девушки водили хороводы, или играл с дворовыми в горелки.

Сергей «ослушался». Ни к деревенской молодежи, ни к дворовым он не пошел, а продолжал сидеть где-нибудь в дальней аллее, или писал пейзажи, а изредка и этюд с кого-нибудь из жителей усадьбы.

Осенью все переехали из имения в Москву, где у Благово, в доме тетушки Марии Ивановны, родился первенец.

Дом Римских-Корсаковых у Страстного монастыря — большой, вместительный, удобный. Мария Ивановна, избранная крестной матерью, окружила молодую семью внимательным попечением. Так как ребенок родился хилым, решено было дать ему сначала окрепнуть, а потом уже пускаться в такую дальнюю дорогу, как Петербург. И Благово остались гостить у тетушки до весны.

С зимним сезоном, сдав маленького Петеньку на руки кормилицы, Елизавета Ивановна закурилась в вихре московских балов. Она нашла, что и в этой «отставной» столице, в конце концов, можно веселиться. И даже особенно блистать среди местных дворяночек, о которых в Петербурге высокомерно говорили: «Смешна, как москвичка!»

В конце зимы до Римских-Корсаковых долетела весть о свадьбе Машеньки Баратовой с бароном Ребиндером. Говорили, что небогатая девушка, почти бесприданница, сделала блестящую партию. Молодые будто бы уехали в свадебное путешествие за границу, на юг.

Гости и хозяева судачили о новости и не замечали, как Сергей, приготавливая столы для карт, мучительно вслушивался в разговор. С похолодевшим сердцем он разложил машинально щеточки, мелки и колоды карт на зеленое сукно ломберных столов и, шатаясь, вышел.

Все кончено. Его светлая, ясная любовь уехала с чужим человеком, навсегда вырвав из души того, с кем поклялась связать жизнь. Будет ли она, по крайней мере, счастлива? Заменит ли ей роскошь и богатство былую мечту? А что, если затоскует? Если сделала этот шаг нарочно, чтобы разом оборвать все нити, связывающие ее с прежним? Написать? Но куда? За чем?.. Все кончено. Теперь уже все и навеки.

В тесной каморке, возле кухни, он забился в подушки, чтобы не кричать от боли и бессилия.

Саша, бросив танцы, побежала в коридор, звала его. Наверное, тоже узнала о свадьбе Машеньки. Сергей не отзывался.

Любящим сердцем угадав, что Сергей страдает, Марфуша сунулась было к нему. Но он не хотел утешения ни от кого.

Потом он встал и пошел в шеренгу выстроившихся у двери, возле буфетной, лакеев.

5

ХОЛОП

Мария Ивановна уговорила Благово провести еще одно лето в ее подмосковном. «Бэби»¹ необходимо было как следует окрепнуть на попечении опытной тетки. Помещица говорила:

— У ребенка английская болезнь, рахит. Только солнышком да солеными ваннами и лечиться. Куда вам, без меня, его поднять?.. Гляди, душенька Лизонька, долго ли я за ним смотрю, а он уж и на ножки становится.

Елизавета Ивановна вздохнула, но, выполняя «долг матери», не спорила.

С господами уехал и Сергей.

Все лето он прожил как во сне. К кистям не притронулся. Природы избегал. Избегал и встреч с Сашей. Марфуша казалась ему назойливой. Урывками, в свободные часы, он читал, разыскивая на чердаке выброшенные французские разрозненные книги. Иные захватывали его, унося далеко от действительности; другие он бросал и с сердцем говорил:

— Небылицы!

И тогда лежал ничком, как мертвый, не шевелясь.

Вспоминал товарищей. Где они все? Скоро ли вернется «Камчатка» с Тихоновым? Что пишет теперь Лучанинов? Думал о разных судьбах художников. Об удачнике — талантливом Карле Брюлло... Разыскивал всякие слухи, касавшиеся живописцев, вышедших из крепостного состояния. Больше всего разузнавал о Василии Андреевиче Тропинине, крепостном

¹ Бэби — ребенок (англ.).

графа Моркова, слава о котором гремела и в Москве, и в Петербурге, о котором знали и за границею. Думал о гнезде крепостных художников в шереметевском Останкине, куда он попал раз с господами. Сад — чудо искусства. Во дворце каждый камешек, каждая картина, каждое кресло — художественное мастерство, изделие рук крепостных. Там еще живо имя мастера Ивана Петровича Аргунова, умершего почти четверть века назад. Он был «талант всех мастей», как гордо говорили о нем товарищи, шереметевские крепостные: и дворец строил, и картины писал. А когда-то звали просто «Ванькой» и, поди, не раз драли на конюшне. Позже господа им же гордились и все-таки оставили рабом...

Елизавету Ивановну раздражала тоска Сергея, и она жаловалась тетке: — Вы заметили, ma tante, как наш «Рафаэль» сохнет? Скажите, почему я должна терпеть его унылый вид? Это все Машенька Баратова виновата: закружила ему от скуки голову, а он и вообразил себе бог знает что... Ему бы в мою Марфушку влюбиться!

— А что? Хорошая девушка, — отзывалась рассудительная Мария Ивановна. — Пережени их — и делу конец!

Лиз надувала губки — Марфуша ей была нужна неотлучно.

Пасха выдалась поздняя. В страстную субботу Сергея пустили погулять в Москву. К Фоминой неделе¹ туда должна была приехать на весеннюю распродажу в магазинах практичная Мария Ивановна и увести его с собой обратно.

В канун пасхи Сергей бродил один по улицам. Ему не хотелось в складчину с корсаковской дворней встречать праздник.

Он шел наугад. Поминутно попадались бабы с узелочками: они несли святить по церквам куличи и яйца. Форейторы² звонко кричали:

— Па-а-ди!.. Сто-ро-ни-ись!..

И горячие лошади пролетали мимо.

Часы на Спасских воротах горели ярко освещенным циферблатом. Сергей проверил по ним свои карманные.

— Па-а-ди!.. Па-а-а-ди!..

Сколько экипажей. Все торопятся встречать праздник. Вон карета полнеймейстера, кругом нее скачут казаки. Толпа шарается — того и гляди, огреют нагайкой. С каланчи протяжно доносится:

— Слу-у-шай!..

Этот окрик напоминает далекий Петербург, Петропавловскую крепость. Былую жизнь. Там теперь наступает время белых ночей.

А здесь небо все темнее. Вот оно стало как черный бархат и окутало улицы мглой. Видны только повороты, где горят плошки. Они обозначаются четкими огненными каплями, похожими на отражение далеких звезд. И вдруг в разных направлениях начали зажигаться яркие точки — пламенными узорами выплыли очертания церквей, общественных зданий. Пасхальная иллюминация!..

¹ Фомина неделя — следующая за пасхальной.

² Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом (гуськом).

Часы пробили полночь. Глухо грянул пушечный выстрел. Он не успел еще замереть, как со всех концов Москвы залились колокола, заговорили голоса всех «сорока-сороков» колоколен Белокаменной.

Сергей вошел в Кремль, поднялся на колокольню Ивана Великого и стал среди любителей-звонарей. Внизу от Чудова монастыря в свете мигающих огоньков тянулась длинная цепь черных монашеских фигур. Горящие свечи озаряли золотые и серебряные хоругви, озаряли лица людей. Подавляюще гудел Иван Великий, заглушая голоса певчих. Спугнутые звоном голуби не находили себе места и реяли, точно подхваченные ураганом лепестки гигантских белых цветов.

Было красиво и торжественно. И особенно одиноко. Вспомнилась уютная квартирка при академии: у пыхтевшего самовара — приветливое лицо хозяйина, склонившегося над своим отчетом, ласковые уговоры Анны Дмитриевны «больше кушать...» Вспомнились горячие споры с товарищами об искусстве, заикающийся, взволнованный голос Миши Тихонова и спокойный басок Лучанинова.

Сергей не пришел к общему праздничному столу, а пролежал в своей каморке под лестницей весь остаток ночи. Прележал и другой день, когда была прислуга, кроме нескольких стариков, перепилась и была отпущена погулять. Весь день он читал французских писателей, рождавших в душе новые мысли. А когда читал Вольтера, думал: что, если бы эту книгу увидел у него дворовые! Они засмеяли бы его, прозвали «французом», «баринном», а господа, возможно, наказали бы за «вольтерьянство» — свободомыслие.

Сергей не соблазнился и пасхальным гуляньем под Новинским. Праздник прошел для него как будни.

В Фомин понедельник он должен был сопровождать приехавших Корсаковых, мать и Сашеньку, на распродажу. В этот день Москва кишела экипажами и пешеходами, начиная с аристократок и щеголих, кончая бедными чиновницами и мещанками в поношенных сапогах. В этот день каждый магазин выбрасывал на прилавок залежавшийся товар, чтобы завтра заменить его новым. Всем хотелось приобрести за бесценок новое платье, шаль, шелк, бархат, кружева, ленты. Расчетливая Мария Ивановна собралась спозаранку в магазин Матиаса — мечту всех московских модниц.

Широкие двери уже осаждала толпа, когда Сергей откинул подножку корсаковской кареты. Мария Ивановна сердито кричала:

— Ну что же ты, Сережка, стоишь болван болваном? Видно, там, в Питере, по разным академиям, ты всякой деликатности набрался и разучился работать кулаками? Сама я, что ли, должна расчищать себе дорогу? Вот дурень!

Сергей покраснел, но стал послушно пробираться сквозь толпу женщин с картонками, вышитыми мешками, узлами, пакетами в бумаге и холстине, громко покрикивая:

— Дорогу!.. Дорогу генеральше Римской-Корсаковой!..

Мария Ивановна со своей стороны не жалела превосходительных кулаков.

Сзади шла Саша, раздвигая локти, чтобы спасти праздничное гренадиновое платье и шляпку с ажурными лентами — вдохновенное произведение модистики с Кузнецкого моста.

Сбоку Сергея поддержал хриплый голос квартального:

— Дорогу генеральше! Виноват, ваше превосходительство! Посудите сами — толпа без всякого разумения.

Вся красная, Мария Ивановна грозно оборвала:

— Я тебе покажу «разумение»! С толпой справиться не умеешь, какой же ты после этого страж порядка?

Саша шепнула в отчаянии:

— Маменька... маменька... я не могу... Я уйду...

— Не дури! Все равно не пролезешь теперь назад.

И тут же окликает сочным басом:

— Наталья Борисовна! Почему покупали левантин?

— Всего по три рубля, а еще вчера он был пя-ать!

— А двойной линон?

Ответ знакомой дамы тонет в общем гуле.

— Александрин, пробирайся, душа моя, пробирайся! Видишь, твой ма-зун ничего не может. Ни богу свечка, ни черту кочерга.

— Маменька, что вы говорите? За что оскорбляете человека?

— Холопа, матушка, а не человека! Еще о вольной хлопотала этакому балбесу!

— Маменька! Я убегу! Над нами смеются... — шепчет Саша со слезами.

— Не убежишь. Для тебя же, не для кого другого, обновки приехала покупать. Для тебя на своем генеральском теле синяки домой при-несу.

Саша не убежала, а благополучно вернулась домой, привезя для себя и всей семьи ворох обновок. Но после поездки не решалась взглянуть в глаза Сергею. Столкнувшись раз в буфетной, она сделала вид, что не замети-ла его.

В деревне Сергей чувствовал себя все же лучше. Были глухие уголки сада, куда он уходил в свободные минуты. Была рыбная ловля на малень-кой речке. Были одинокие ночные часы под звездным небом.

Сквозь черные кружева листвы сквозила бездонная небесная глубина и ширь. Можно было любоваться золотым бисером звезд, слушать утом-ленным сердцем тишину... И от этого постоянная, тоже бездонная обида жизни точно замирала.

Иной раз Сергей шел слушать музыку воды вблизи мельницы. Жад-но следил за пляской солнечных бликов по глади запруды. Солнце, источ-ник всего живого, рождало в его омертвевшей душе намек на жизнь, про-буждало сознание. У плотины бурлила и пенилась вода, поднимая в па-мяти забытый протест, смутно звала к борьбе.

ИХ ВЛАСТЬ

Солнечный луч творчества, казалось, вернулся в сердце Сергея по возвращении в Петербург. Он осветил ему существование, когда господа приказали расписать анфиладу комнат, предназначенных для картинной галереи.

Как-то утром его потребовали в будуар барыни. Там был сам Благово и маленький барчонок со старой няней.

Толстый и упитанный благодаря недавним заботам Марии Ивановны, ребенок переваливался на ножках-тумбочках и бегал от Елизаветы Ивановны к няне, хватая старушку за накрахмаленные завязки чепца. Потом, смеясь, вновь кидался к матери и путался в кружевах ее нарядного капота.

Елизавета Ивановна чувствовала себя «рафаэлевской мадонной» и томно играла с ребенком. Но, когда мальчик, расшалившись, дернул ее за локон, она сердито оттолкнула его:

— Несносный мальчишка! Нянька, ты совсем не смотришь за ним! И вы, Пьер, не смогли вовремя удержать. Да унеси же ребенка в детскую, нянька!

Няня унесла испуганного мальчика, а барин со сконфуженным видом старался привести в порядок прическу жены.

Пришла Марфуша и исправила локоны горячими щипцами. Проходя мимо Сергея, она не удержалась и громко вздохнула.

Елизавета Ивановна рассерженно обернулась.

Сергей стоял у дверей и ждал.

— А... это ты? — протянула все еще недовольно барыня. — Я звала его, Пьер, чтобы приказать закончить новые залы в нашей галерее, согласно художественному плану.

— Вот именно, Лиз... художественному...

— Я много думала над ним. И вот мое решение: сцены с сельским и в то же время аллегорическим смыслом. В весьма деликатной манере. Вроде Ватто. Это модно и изяшно. Графиня Лаваль, несмотря на свой этрусский кабинет с коллекцией знаменитых ваз, и граф Кушелев, чье серебро и золсто на поставках и этажерках вызывает зависть даже у знатных иностранцев, оценят деликатность моей затеи... А что теперь скажет князь Андрей Михайлович Голицын? Он возмущает меня своим хвастовством: в его галерее будто бы уже пятьсот картин. Но, я думаю, он сильно преувеличивает. Как вы полагаете, Пьер?

— Преувеличивает, Лиз, несомненно преувеличивает!

Благово старался избежать сравнений с вельможными меценатами.

— Ну, — повернулась барыня к Сергею, — слушай внимательно и запоминай, чтобы не внести в план своего русского... холопского вкуса. Это надо иметь в виду с самого начала, чтобы избежать непоправимых ошибок.

Сергей наблюдал. Откуда у Елизаветы Ивановны такой апломб, такая уверенность в себе?

— Во-первых, — медленно говорила барыня, — следует, чтобы в нашей галерее были приемные дни для избранной публики. И вот что я придумала: моя бабушка, весьма близкая к императрице Екатерине, рассказывала, что тогда в моде было называть дни недели совсем по-особому... Это будет забавно и оригинально. Не правда ли, Пьер?

— Оригинально! — как эхо, повторил Петр Андреевич.

— Надо будет нарисовать Сатурна¹ с косой, а под ним — в фигурах дни недели... Запиши, — указала Елизавета Ивановна на приготовленный лист бумаги с фамильным гербом Благово. — Понедельник будет называться «Серенькой». Можно изобразить маленькую хорошенькую мышку с бантиком на шейке. Но, боже избави, не такую, чтобы вызывала страх и отвращение своим естественным видом! Чтобы ничего естественного, грубого. Все — мечта, греза, сказка. Пиши: вторник — «Пестренькой», это луг с разноцветными... или нет, лучше букет полевых цветов в руках у грациозного пастушка, который он подает своей любезной пастушке. Понял?

— Слушаю-с.

— Дальше: среда — «Ковется». Это — ну хотя бы ежик... Ах, нет, у тебя получится вульгарно, слишком просто. Вот! Нарисуй мой портрет с веретеном, наподобие все еще, кстати, не оконченной тобой «Омфалы». Я протягиваю веретено с золотой ниткой... или лучше — голубой. Итак, мой портрет и веретено, на которое «дерзкий может наколоться...»

Она кокетливо взглянула на мужа, и тот окончательно растаял.

Сергей аккуратно записывал затеи, всплывавшие, как водяные пузыри, в мозг барыни.

— Четверг — «Медный таз». Наши бабушки ходили эти дни... — Елизавета Ивановна слегка потупилась, — в баню. Но мне кажется, Пьер, это не совсем прилично. Лучше бассейн с фонтаном и нимф, резвящихся в голубых струях.

— Ах, Лиз, умница! Вы всегда найдете очаровательную уловку!

— Пиши, Серж. Пятница — «Сайка». Фи!.. Такое неизящное название. Всю ночь думала и ничего, кроме кондитера в колпаке, не придумала. Но это неинтересно! Надо что-нибудь более возвышенное.

Сергей машинально продолжал писать. Елизавета Ивановна потянулась за листом и прочла:

— «Вакханка...² Бахус... Церера...» Церера? Это удачно! Подумайте, Пьер, вот неожиданность: он подсказал мне хорошую мысль! Церера — богиня плодородия с золотым снопом в руках. Ведь из колосьев, кажется, и делают эти сайки. Церере тоже нарисуй с меня. Я хозяйка дома и земельных угодий. А главное, теперь я — мать. Не правда ли, Пьер, я мать?..

— Мать, Лиз, очаровательная мать. Мадонна!

Елизавета Ивановна благосклонно улыбнулась мужу и протянула руку для поцелуя.

¹ С а т у р н — бог времени у древних римлян.

² В а к х а н к а — жрица бога Вакха.

— Теперь суббота: «Умойся». Непременно портрет малютки Петеньки в ванночке. И, наконец, воскресенье: «Красное». Ваш портрет, Пьер, в красной римской тоге. Это будет эффектно! — Она откинулась на спинку кресла. — На сегодня довольно, я устала. А еще столько дел! Столько распоряжений! Пожалейте меня, Пьер.

Благово встрепенулся:

— Уходи, уходи, Сергей! Барыня утомилась.

Сергею отвели светлую комнату для работы. Он завалил ее всю чертежами, рисунками, подрамниками с натянутым полотном, надеясь, несмотря на нелепость и безвкусице заказов, заглушить работой смертельную тоску. Он серьезно обдумывал мешанину из мифологии и досужей фантазии барыни, старался создать и в этом винегрете что-нибудь интересное, значительное.

Сквозь тонкую стену, отделявшую его от буфетной, к нему, как всегда, доносились разговоры челяди. Какой-то приезжий монах гнусаво разглагольствовал. Неожиданно он умолк на полуслове, в буфетную кто-то вошел.

— Это што за со-бра-ни? — послышался крикливый вопрос немца-мажордома.

— Все нянька, — оправдывался буфетчик. — Любит до смерти странников.

И опять — брющающий голос:

— Пфуй, господски дом напустил ладон, воск, деревянна масла. Их бин хир смотреть порядка. А Сережка видаль? Сережка напустил скипидар, краска. Пфуй! Сережка надо в столярни. Распустил хлоп!..

Сергей слышал все, слово в слово, и его охватывала злоба. Он ясно представил себе, как исказилось презрительной гримасой одутловатое лицо немца, с маленькими заплывшими глазками, когда он произносил: «Сережка... Хлоп...»

И вспомнил рассказ о Леонардо да Винчи. Работая над своей знаменитой фреской «Тайная вечеря», величайший итальянский художник изобразил в предателе Иуде настоятеля того самого монастыря, для которого и писал фреску.

Сергей осмотрел начатый «аллегорический календарь». Как нельзя кстати наружность немца подходила для изображения упившегося Бахуса с толстым лицом и губами, красным носом и рыжим коком на парике.

Быстро набросал он на бумаге карикатуру и готовился уже перенести ее на полотно, как в комнату вошел сам мажордом.

— Работаль? — спросил немец отрывисто. — Ну, гут, гут, карашо. Я пришел за тебя: изволь собирать вешы и марш — в столярни.

Сергей возмущился:

— Да вы что придумали, Ганс Карлович? Моя работа требует света.

— Молшаль, мазилька! Я — мажордом, распоряшаль... — Он вдруг

остановился и, указывая пальцем на карикатуру, спросил: — А это... was ist das? ¹ — Потом разом замолчал, поджав губы и выпучив глаза.

Нагнувшись над рисунком еще раз и что-то, видимо, обдумывая, он визгливо закричал:

— Дольго мне ешо говорилъ? Марш сишас в столярни! Прошка, помогай нести.

Сергей начал раздраженно собирать вещи.

Прибежал казачок Прошка. Мальчишка любил скандалы. У него был торжествующий вид. Еще бы! Зазнайка-Сережка изгонялся с господской половины в столярную. А там удобнее будет таскать у него бумагу, карандаши, краски. Казачку нравилось малевать. Над его рисунками впокатку хохотала вся дворня. Бойкая рука мальчишки выводила картинки самого озорного содержания.

Началась новая жизнь под визг пилы, под стук долота и шуршание стружек. Сергей уговаривал себя:

«Ничего, стисну дубы и поставлю мольберт за перегородкой, подальше от столярного станка. Все же это — творчество, и в нем можно забыться...»

А у Елизаветы Ивановны рождались все новые и новые причуды. Она хотела выжать своего крепостного, как губку. Она уверяла, что Сергей может ездить с нею на запятках, исполнять одновременно поручения, требующие толкового понимания, писать портреты, разрисовывать вазы для сада и декорации для задуманного ею театра, а также не оставлять «плана» картинной галереи. И жаловалась мужу:

— Пьер, мне противно кататься, когда за мной стоит Григорий! И ростом он не вышел, и нос... — она делала неопределенный жест, — такой непростительно вульгарный профиль. Он отравляет мне прогулку. Я начинаю нервничать... и... вообще... прикажите что-нибудь Гансу Карловичу.

Мажордом распорядился, чтобы второму выездному лакею надевали парик с золотистыми кудрями, а лицо белили и румянили. Нос исправить, правда, не удалось, — Елизавета Ивановна продолжала «нервничать» и требовать Сергея.

И он рвался на части, работал то в зале для будущего театра, то в «картинной галерее», то раскрашивал к весне вазы для сада. Елизавета Ивановна досадовала, что Сергей не скульптор, и сердито спрашивала:

— Чему же тебя учили в академии, если ты даже амуров и богинь сделать не умеешь?

Работать при столярной было вдвойне тяжело.

Старик Егорыч, искусный столяр и неплохой человек, имел трех подручных, которых учил и нередко бил. Бил он их только под пьяную руку, но напивался часто. Денег у Егорыча водилось негусто, и водку он заменял лаком, который выдавал ему мажордом. Егорыч процеживал лак через корку хлеба или через соль и глотал отстоявшийся спирт. Этим зельем он поил и своих подручных, отданных ему под начало. Пьяный, он вымещал на них всю обиду жизни, все неудачи, боль и бесправие. Бил и приговаривал:

¹ Что это такое? (нем.)

— Это тебе, сукин сын, за то, что ты вчера олифу спортил. А это за то, что голову льва на господском кресле вверх тормашками приставил. Меня били, и я бью!.. У меня, может, все кости из суставов выверчены, а душу на конюшние ноги вытоптали. Пушай и другой терпит...

Подручные — Ванька, Васька и Савка, — напившись того же лака, бросались с помутившимися глазами сообщать на старика. Они колотили его в свою очередь, падали на пол и с криком и грохотом подкатывались под самую дверь загородки Сергея.

Но, когда все, наконец, «обходилось» и соседи бывали трезвы, Сергей начинал мало-помалу привыкать к обычному стуку и шуму мастерской. А запахи скипидара, лака и красок были к тому же сродни его искусству.

Сергей готовил как-то холст, обдумывая предстоящую работу. Дверь скрипнула, в нее просунулась всклокоченная голова старика Егорыча. Он был трезв, и маленькие серые глаза его смотрели из-под очков светлым пронизательным взглядом.

— А я к тебе, Сережа, — начал он со вздохом. — Тоска заела.

Сергей невольно улыбнулся:

— Лаку, что ли, не хватило, Егорыч?

— А ты не смейся. Лаку хватит. Да не всегда он тоску отгонит. Тоска мое сердце выела, как роса медвяная траву в поле выедает. Сяду-ка я к тебе на ящик. Не бойся, на краешек, ничего не сомну... Я ведь понимаю.

От него пахло не как обычно перегаром, а свежим деревом.

— Поговорить с приятным человеком, Сережа, охота. Вот здесь томит. — Он указал на сердце.

Лицо старика, в мягких морщинах, вдруг осветилось ласковой улыбкой.

— У нас с тобою наши работки ровно бы сестры, Сережа. Ты картину, скажем, малюешь, а я тебе — рамы да подрамники, мольберты да столы для рисования. У тебя краски, и у меня краски. А был бы ты мастер другого цеха — лепил бы из глины, скажем, — я твою лепку из дерева на вещицы для барского потребления вырезывал бы. По твоим, значит, образцам. И столько рублей ты да я получили бы, когда были бы на воле!..

Старик снова протяжно вздохнул и заскорузлыми пальцами начал осторожно перебирать рисунки Сергея.

— Важная работа! — с простодушным восхищением произнес он. — Краски-то сам растираешь?

— Сам, понятно.

— И охра, и краплак, и индиго, и кармин. Я, братец, знаю толк даже в твоих брахманских карандашах. Сей итальянский карандаш, хоть и выписывают из Италии, а только, помню, говорили — как это ни удивительно, — отыскался и у нас, где-то на Дону. А все русские тянутся к заграничному и своим брезгут.

Егорыч рассматривал набросок смеющегося женского лица.

— Что это у тебя, Сережа, никак, Марфутка-горничная? Зачем тебе простой девки портрет? Смотри, не попало бы от господ.

— В дело пойдет! А похоже? — улыбнулся Сергей.

— Как живая! Ну ты и мастер, я погляжу!

Сергею стало приятно от интереса, проявленного этим малознакомым стариком к его творчеству.

— Я ведь тоже маленько рисовать учился для моей работы, — продолжал Егорыч. — Хлебнул этой мудрости... И вот душа моя хочет тебе открыться... Ты ведь не из вороньей стаи. К тебе сердце и потянуло. А то — скажу лютая. Сегодня воскресенье, в столярной не работаем. Есть, значит, свободное время. Станешь слушать мою сказку-быль?

— Как не слушать, Егорыч!..

Сергей был рад. Точно родная душа пришла и захотела вылить ему все, чем болела сама.

Егорыч, положив руку на плечо Сергея, заглядывал ему в глаза и вполголоса говорил:

— Прежде, как ходил ты с утра в ливрее, был ты словно чужим. Заблудишь с каким приказом от господ в столярную, а я своим молодцам и толкую: «Фордыбачит, стерва, а из такой же кости вышел, как и я. В курной избе рожден от бабы Перепетуи, как и мы, грешные...» Нынче же ливрею надеваешь, когда в барские хоромы позовут. А здесь сидишь, как и мы, в ситцевой рубашке... И стал ты нам ровно своим. Понял?..

— Понял.

— Сказано — и кончено. А то — «ака-де-мии» разные да «художники». Свой и свой, вот и все!..

Старик начал свою повесть тем внешне бесстрастным голосом, каким рассказывают странники-сказители:

— Жил-был на свете Федька, Егоркин сын... После стали звать его Егорычем. И этого самого Егорыча ты видишь сейчас перед собою.

Он ткнул себя пальцем в грудь.

— Только не всегда он был, как сейчас, столяром. Ты только спроси, кем он не был по желанию господ? Учили рисованию, в резчики готовили, художественную резьбу по итальянским манерам резать. И пению учили, не поверишь, ей-богу, пению... А уж грамоте — само собой. И в оркестре господском играть — все было. Что прикажут, то и делаешь. Куда ткнут, туда и идешь. И многим господам тот Федька Егоркин принадлежал по закону — переходил из рук в руки: то по наследству, а то по купчей...

Он перевел дыхание, глядя в окно. На снегу двора начинали синеть сумерки. Потом заговорил снова:

— Принадлежал Федька фельдмаршалу Разумовскому, коему пришлось на мысл продать весь оркестр князю Потемкину, по восемьсот рублей за каждого, всего за сорок тысяч. Продали Федьку, однако, отдельно и в газетах дали объявление: «Продается дворový человек, умеющий грамоте, знающий столярное ремесло и который хорошо играет на флейтаверсе». Сказано — сделано. Попадал Федька к светлейшему.

Егорыч подошел к печурке и поправил в ней полено. Огонек вспыхнул и зазвенел по дереву. Жаркие красноватые отсветы легли на некрашеный пол. Кочерга в руках Егорыча слегка колотилась о половицы, и только этот стук выдавал его волнение. Голос звучал равномерно-монотонно.

— А был в это время Федька уже Федотом, и можно бы величать его Федотом Егоровичем, ежели бы он не родился в холопском звании. И с жеманством ему не повезло. Вот веришь ли, никогда не льстился я на женитбу. Отпугнуло от женского пола еще в младости. Был я, к слову сказать, парнем красовитым и любил, нечего греха таить, любил в те поры, как значился еще крепостным графа Орлова... Это тот самый Владимир Григорьевич Орлов, что приказал высечь своего крепостного архитектора за то, что тот, строя кузницу, ошибся и завалил свод. А с кем ошибки не бывает? Да я не про то. Меня и самого секли до полусмерти за девушку. Любанькой ее звали. С Любанькой у нас был сговор, и с родителями уже по рукам ударили. Любанька, ни дать, ни взять, наша Марфутка была: такая же черноглазая, бойкая, в хороводе первая запевала, а коса — до пят. И вдруг графову бурмистру вдовому она понравилась. Граф и просватает ее за него. Она — в слезы: «Не пойду. Он мне хуже собаки паршивой!» И правда был он непригож: голова не то песья, не то лошадиная, и кривой-то на один глаз, и старый, и корявый да конопатый, на одну ногу прихрамывал... Тыфу, прости господи, одно слово — образина. Любанька кричит: «Удавлюсь!» А графу что? Отдал приказ, сказано — сделано... А Любанька возьми и впрямь удавился в хлеву... Коровы ей мертвой ноги лизали, а я в те поры бурмистрову рожу раскровянил. Ну, за это меня сперва хотели в солдаты отдать, а после только выдрали. Три месяца отлежал. А как поднялся, графу для дочери к свадьбе нахтиш¹ с амурами вырезал. И за то граф меня до руки своей допустил — руку барскую рабски облобызывать, в знак полного прощения. И невесту предлагал выбрать. Я, конечно, поблагодарил и отказался. Как на какую девицу взгляну, мне моя Любанька в хлеву на перекладине чудится. Зато нахтиш вышел на славу. Всяк, кто приехал на свадьбу, хвалил безмерно. Свадьба была пышная, на весь Питер прогремела. Гости собрались самые вельможные... А у моих резных амуров личики — как живые, сказывали, с грацией итальянского совершенства. Да-а-а!

Егорыч опять помешал в печке. На лице его резче выступили морщины. Голос зазвучал совсем тихо:

— Вот, как уголья рассыпаются, так скоро, видать, рассыплется и моя жисть, Сережа... Уголек спыхнет — и нет его, одна зола. Так и жисть. Многих я господ был холопом, пока не продали меня господам Благово мастером разных нахтишей, рам, кроватей, всяких там этажерок да трельяжиков для барских утех... Ты, парень, не бери с меня пример, ни боже мой! Не тоскуй. Такая уж наша доля — служить для барских услаждений. Жисть пережить — не поле перейти. Из всякого ковша нахлебашься...

Он усмехнулся:

— Я даже актером, Сережа, был. Не веришь? Господа любят крепостные театры. У графа Каменского в Орле тоже был театр. Люди ходили за деньги, значит, мы, холопы, барина того кормили. А на стене у него висела завсегда огромная плеть. Между игрой его сиятельство своими ручками

¹ Нахтиш — ночной столик, туалет (нем.).



Егорыч, положив руку на плечо Сергея, заглядывал ему в глаза и вполголоса говорил.

бил ею неисправных актеров. «Ты, кричит, поешь брюхом, какой ты есть бас? А ты, такой-сякой, какую рожу для оперы намалевал, — не человечья, а свиное рыло». И актерок тоже бил...

Он с горечью вдруг рассмеялся:

— У одного помещика, рассказывали, шел балет «Амур и Психея». Амур был парень рослый и Психея — в теле. Хотели они барину угодить, да и прыгнули повыше. А на веревках у барина висели ребята с крылышками: кто изображал «радость», кто — «утеху», а кто — «игру». Плясуны скакнули да головами и задели за ребят, ребята и разревелись... Публика — в хохот, а барин — за плетъ. Так с вспухшими задами и плясали Амур с Психеей.

Сергей слушал опустив голову.

— Тебе, Серега, еще ничего живется. Только ты немца остерегайся. Господа разгневаются, он жару подбавит. Господа приласкают, он яму выкопает от зависти. Не ты один страдаешь. Про Хераскова, сочинителя, слышал?

— Как не слыжать!..

— Он сочинил слова для оперы, по прозванию «Милена». А музыку к ней написал холоп князя Петра Михайловича Волконского. Однако имя крепостного на нотах не поставили, и имя то всеми забылось. И я не помню, хоть сам недолгое время господами был отпущен в оркестр к князю Волконскому. И «Милену» эту самую хорошо по всем нотам знаю. Царское семейство даже смотрело и очень музыку одобряло.

«Да, — подумал Сергей, — сколько забытых холопских имен затерялось по всей крепостной Руси!..»

— Видно, у нас от природы, Сережа, как бы корешок заложен, семечко аль зерно, вроде как у растения. У кого оно всхоже, — выходит на свет, и пышным цветом расцветает, и плоды хорошие дает.

Он покачал головой, точно сам удивляясь своим словам.

— Ты, милый человек, вникни в мои речи. Я тебе говорю про святой корешок, про семечко. Оно и у тебя, и у меня, у многих бывает... Знал я одного повара. Федором Устиновичем Грехуновым звали. Фамилия вроде грешная, а душа ангельская. Он, милый ты мой, всего-навсего торты делал. А какие? Чтобы цветики сахарные лучше выходили, в поле, в лес, в сады разные ходил. И каждую былинку разглядывал: где у нее сколько листиков да стебельки какие. А на него глядячи, молодой поваренок тоже, видать, с искрой, стал георгины да розы из репки со свеклой вырезывать. Кабы их учить, думаешь, они бы не смогли статуи из мрамора резать? Вот то-то и оно! Вот тебе это самое «семечко».

Старый, с красноватым носом и слезящимися глазами столяр радостно улыбался.

«Вот оно — творчество!» — подумал Сергей, схватив карандаш и стараясь запечатлеть одухотворенное выражение лица собеседника.

И было непонятно ему только одно, как может этот вдохновенный старик валяться у двери пьяный и грубо ругаться.

Точно угадав, Егорыч неожиданно добавил:

— Человек слаб и не всегда чует ту светлую искру, а порой и вовсе о

ней забывает. В ту пору и тянется к лаку либо к пеннику, — падает в бездну нечестия. А вот, к примеру, стихотворец Сибиряков, говорят, не падал. Его ценили многие высокие особы. Сам Василий Андреевич Жуковский поднимал за него голос, и даже генерал-губернатор граф Милорадович, я слышал, года два назад просил помещика отпустить на волю Сибирякова. Да помещик заломил такие деньги, что у Жуковского с его сиятельством не хватило не то капитала, не то охоты. Да-с!..

— И что же этот стихотворец? — спросил Сергей.

— Стихотворец примечательный. И в то же время, заметь, герой. Он сопровождал своего барина во всех походах, и не раз его к Егорьевскому кресту за храбрость должны были представить. Да где простому холопу против барина героем быть! Барин — столовой, рязанский предводитель дворянства, кость самая благородная. В моих странствиях знавал я и барина и холопа. Ваня-то Сибиряков тоже кем только не был! Учился в Москве, в школе, грамоте, обучался ремеслу в кондитерской лавке, землю пахал, в камердинах ходил... И всюду с ним — она, искра светлая. На последний грош книги и бумагу покупал. Под головами те книги хранил и писал свои стихи где ни приходилось — даже на войне, под пулями. В четырнадцатом году, как русские заняли Париж, ему предлагали остаться за границей. Да где там!.. Ваня будто бы сказал тогда: «Люблю родину больше, чем волю». И вернулся вместе с бариним домом. Так-то!

Егорыч поднялся.

— А стихи его... Дай, может, что и припомню...

Он закрыл глаза и дрожащим голосом продекламировал:

Увы! И я, и я рожден
В последней смертных доле...
Природой чувством наделен,
Столь гибельным в неволе!..

Егорыч шумно вздохнул, потом вдруг прислушался. Издали, со ступенек кухонного подвала, донеслось треньканье балалайки. Старик поморщился:

— Брешет Васька-мерзавец, ох и брешет! А еще — мой ученик. — Егорыч даже сплюнул. — У этого, видать, «зерно» внутри пустое: ни музыка, ни столярное дело плода не дают... Ну, я пошел к себе, Сережа. И то, брат, надо помнить: «Не умеешь шить золотом, бей молотом; не умеешь молотом, шей золотом». А господа? Что господа! Их власть!..

7

«КАМЧАТКА» ВЕРНУЛАСЬ

Мысль Егорыча о «корешке», о «семечке» и «плодах всхожего зерна» глубоко затронула Сергея.

Он стал еще упорнее размышлять о творчестве вообще, и особенно о собственном. Перебирал в уме всю систему преподавания в академии, по ко-

торой его вел опытный Егоров. Стал более серьезно и придирчиво рассматривать свои наброски.

Вот голова пляшущей девушки — это горничная Марфуша. Вздернутый нос. Черные, полные веселья и лукавства глаза. Крепкие белые зубы, обнаженные в заразной улыбке. Ни одной черты античных образов. А между тем Сергей набросал ее для будущей фрески и собирался повторить или в хороводе танцующих нимф, или отдельно, в образе жизнерадостной девушки-пастушки среди пестрого весеннего луга.

Что бы сказали, глядя на это, академические учителя? Большинство из них ставили на натуру одни и те же гипсовые фигуры. Иногда начинало просто тошнить от постоянных Аполлонов, Ахиллесов и групп Лаокоона. Он вспомнил вечные требования профессоров не забывать о «классическом изяществе» и уже через это «изящество» пропускать природу.

«Знай анатомию правильно сложенного тела и ежели увидишь у натуры что не так, то, памятуя образцы классических статуй, исправь по ним натуру».

Но Сергею не хотелось исправлять ни вздернутого носа, ни формы рта Марфуши. И в карикатуре на немца, с его красным носом и оттопыренной нижней губой, он изобразил Бахуса, стремясь к правде жизни.

Марфуша, заходя к Сергею, восторженно смотрела на мольберт. А когда он работал, по-детски всплескивала руками и заливалась радостным смехом:

— И как ты, право, умеешь! Господи! И волосы, и пальцы, и все — всамделишное! Матушка с батюшкой в деревне поглядели бы — вот подивились бы!

Не давая себе передышки, Сергей работал, а по праздникам уходил наблюдать жизнь на улицах. Он надевал собственное, сохранившееся от старого житья платье, а ненавистную ливрею оставлял дома.

Заметив такой «непорядок», Ганс Карлович придрался к случаю, чтобы отомстить Сергею за карикатуру.

— Их бин мажордом. Я имел прав не позволяй ходить без ливрея! Ти поедеш трактир и напиль водка, как свинья. Ти будеш скверни ругаль, попадеш в полисия — ничего не боаль. А в ливрея — боаль: квартальни пошоловал... и господа драль на конюшня.

Но Сергей продолжал ходить на улицу в своей одежде.

На масленице он попал на гулянье, смотрел на балаганы и на ледяные горы на Царицыном лугу, против Адмиралтейства. Смотрел на перекидные качели, слушал грубоватые шутки «деда» с бородой из пакли. Накупил пряничных коньков с сусальным золотом, о которых когда-то говорила Машенька.

Через Неву, неподалеку от академии, жил Лучанинов, и Сергей решил зайти наконец к нему. Он слышал, что еще в августе прошлого года «Камчатка» вернулась, но до сих пор ничего не знал о Мише Тихонове.

Сергей пробирался сквозь толпу гуляющих, держа бумажный мешок с пряничными фигурками в золотых украшениях. Слышалась пискотня гли-

няных свистулек, треньканье балалаек, скрипучие звуки гармоники, звон бубна, грохот барабана и зазывание балаганного «деда»:

А-а, господа хорошие,
Парни-девушки пригожие,
Жалуйте к нам, кумушки,
Жалуйте, голубушки!..
Покажем купцам тароватым
Тигров злых, полосатых,
Верблюдов горбатых,
Великанш, карликов малых,
Людоедов волосатых, —
Все есть в наших па-ла-та-ах!..

Мальчишки бежали за Сергеем, скрипя валенками по рыхлому снегу, и просили:

— Барин, дай пряничка!

— Дай одного конька на всех! Дай хоть кусочек!..

Сергей отдал им кулек. Мальчуганы отстали, деля в восторге сладости. Перегоняя друг друга, проехало несколько санок. Тройки заливались колокольцами. Мелькнули знакомые лица кутящей молодежи, которую еще не так давно он встречал в «лучших» домах Петербурга. Сани летели на Острова или в Стрельну. Лошади обдавали с ног до головы комьями мокрого снега.

Сергею было легко, почти весело. Он нараспев повторял адрес Лучанинова:

— На Васильевском острове... в первом квартале... в доме... под номером шестьдесят семь... купцов Жу-ко-вы-ых!..

И спустился по набережной к мосткам через реку.

Мостки чернели, обсаженные по обеим сторонам елками. Было холодно, но уже чувствовалась близость весны. Солнце зажигало справа от Сергея яркие блики на ростральных колоннах. А слева был дорогой сердцу Васильевский остров со знакомым фасадом здания, которое он любил, как живое...

Академия! Нет, нет, он шел не к ней, она закрыта для холопа.

Вот наконец и дом купцов Жуковых. Сергей дернул за деревянную ручку звонка. Пронзительно задребезжал колокольчик. Кто-то спустился по лестнице и поднял железный крюк.

Все такой же медведеобразный, неуклюжий, словно еще больше обросший, открыл дверь сам Лучанинов.

Он взгляделся в пришедшего:

— Сережа?! Ты?! Кого я вижу? Ты, друг?.. Ведь три года не выдались. Пропал, как в воду канул. Васильев только рукой машет, когда о тебе спросишь. Один ответ: господа в Москву увезли. Да ты ли это в самом деле, дружище?.. Вот радость-то!

— Я, Иван Васильевич, я самый.

— Какой я тебе к черту «Иван Васильевич»? Ты меня еще «господином

академиком» повеличай. Вот хорошо-то! Сережа сам своею персоною! Входи скорее.

— А Миша где?

Лучанинов нахмурился и понизил голос:

— У меня Миша. Ну, чего уставился? Миша... плох. Только молчи — сам увидишь.

Сергей вошел в переднюю, снял и повесил бекешку, разматал с шен шарф и молча последовал за хозяином.

На пороге он остановился как вкопанный. Страшно изменившийся, худалый и бледный, Миша Тихонов пятился назад, широко раскрыв полные ужаса глаза и отмахиваясь руками. По этим выпуклым прозрачным глазам Сергей всегда узнал бы Тихонова. Такие «хрустальные» глаза, с детским выражением и скорбью обиженного ребенка, были только у Миши. Видимо, он защищал свой мольберт с картиной.

— Не тронь! — просил он кого-то. — Не бери!.. Я буду жаловаться капитану...

Сергею стало страшно. Что с Мишей? Что здесь происходит?

А Тихонов продолжал:

— Вам жалко красок, я извожу их слишком много?.. Тогда не платите мне жалованья, я буду рисовать даром...

Он отбежал в угол и сжался.

Лучанинов сделал Сергею знак пройти в соседнюю комнату и неслышно затворил дверь.

— Видел?

— Что с ним?

Лучанинов махнул рукой:

— Мишка у нас — тью-тью на всю жизнь! Все равно что мертвый. С ума он сошел еще на море. Помешался на том, что его хотят оставить на одном из островов, вдали от родины. Вообразил, будто его манера писать маслом вызовет революцию в искусстве. И Оленин будто бы, боясь, чтобы его манера не перевернула вверх тормашками всю систему преподавания в академии, решил отправить его в заокеанские земли. «Камчатка» возвратилась домой больше года назад и привезла Мишку уже не в своем уме.

Сергей молчал, подавленный. Потом шепотом спросил:

— Как же он к тебе попал, Василийч?

Лучанинов опять махнул рукой:

— Сначала его поместили в больницу. Но я пожалел, не мог видеть на нем сиянков, больничные служители били. Взял его на время, он тихий. Теперь хлопочу, чтобы отдали навсегда. Казна выделила ему из государственного казначейства по шестьсот рублей в год. Да я и так прокормил бы! Много ли ему теперь надо?

Он усадил приятеля и стал расспрашивать:

— А ты как? Почему пропадал столько времени? Получил ли наконец вольную? Кончил ли своего «Геркулеса», и где он? Над чем работаешь?

Сергей усмехнулся.

— Нет, брат, картина пожухла, — писал я ее давно и лаком не покрыв.

А главное, так и не кончил. Одним словом, схоронил я своих античных вдохновителей, и не будем о них говорить. Воли я тоже не получил и никогда не получу. Что говорить обо мне! Покажи лучше, над чем ты работаешь. Помнишь, как мы гордились твоим «Рекрутом, прощающимся со своим семейством», а потом и «Благословением на ополчение в 1812 году». Недаром же ты получил за это «Ополчение» академика!

Лучанинов невольно поморщился. Трудолюбивый сын искусства, он полагал неуместным показывать свою работу пасынку того же искусства. Он считал Полякова по таланту выше себя.

Сергей подошел к мольберту. Там стоял подрамник с намеченным углом контуром новой батальной картины из той же Отечественной войны. Возле, на скамейках и ящиках, как встарь, лежали этюды. На них были знакомые лица: Кутузова, Багратиона, Александра I... Среди них — приземистая фигура с характерно заложенной за спину рукой и в обычном сером сюртуке — Наполеон.

Лучанинов точно извинялся:

— Усердия много, а пороха маловато, Сережа. Я ведь не ты и не Мишка в свое время... У вас таланта черпай ведром, а у меня — рюмочкой.

Сергей обнял его:

— Этакая у тебя благородная скромность!

— Поди ты к черту! — неуклюже отодвинулся Лучанинов. — Никакой скромности, а чистая правда. Тебя губят, Мишку совсем погубили, а я — в академики вылез. Зло берет, ей-богу!

Сергей смотрел на него с улыбкой:

— Таланта, усидчивости и настойчивости у тебя достаточно, Васильич. А сердца отпустила тебе природа и того больше. Куда нам до тебя!

Он говорил от души. Громадная, нескладная фигура Лучанинова казалась ему прекрасной. В самом деле, кто бы взял на себя заботу о сумасшедшем товарище и возился бы с ним, как нянька?..

— Брось дурака валять, — с досадой оборвал Лучанинов. — Пойдем лучше к Мише. У него припадок прошел, слышишь, смеется. У него эдакие припадки страха частенько бывают. А пройдут, он опять почти наш Мишка. Тебе-то рад будет.

Лучанинов открыл дверь. В обеих комнатах была неказистая обстановка. Хозяин квартиры жил скромно, прислуги не держал. И кормился с Тихоновым трактирными щами и кашей, за которыми сам ходил с судками.

Большой встретил Сергея так, будто трехлетней разлуки и не существовало.

— Здравствуй, Сережа! Никак, знаешь, не могу кончить мою картину. Краски продают паршивые. Вот, посмотри.

Сергей едва удержался от горестного взгласа: перед ним были все те же «Иоанн Грозный и Сильвестр», но в каком виде! Вместо знакомых выразительных фигур — нагромождение и пестрота красок. Картина казалась не писаной, а лепной. Краски бестолково мешались, заглушая одна другую. Лишь кое-где отдельными пятнами просвечивало благородное и смелое письмо Тихонова прежних лет.

А больной с жаром говорил:

— Ты-то поймешь, друг! Необходимо, понимаешь ли, не жалеть только красок. Вася мне в них никогда не отказывает, спасибо ему... И работаю я теперь не кистями, а мастихином...¹ К черту лессировку...² Я выкину все кисти, даже широкие щетинные!..

Он засмеялся и больше не сказал ни слова, отвернувшись к стене и зябко ежась.

Лучанинов отвел Сергея в сторону и показал папку с рисунками:

— Ты посмотри его работы за поездку. Тогда он еще мог работать. Здесь, правда, повторения. Многое взял Головин. А на днях все выйдет отдельным альбомом.

Сергей рассматривал незнакомые смуглые лица, экзотические одежды из перьев, тропические пейзажи, писанные пастелью и акварелью. Его поражала безукоризненность рисунка, тонкость раскраски...

— Мастерская работа!

Сергей вспомнил слова столяра Егорыча. Как пышно взошло зерно таланта бывшего крепостного Тихонова, какой богатый урожай плодов он уже дал России и как много подарил бы родине еще... Зачем же так неосторожно подрезали под корень его слабое здоровье? Зачем не захотели сохранить?..

Его душили слезы. Он торопливо попрощался и ушел.

Дома, на пороге, Сергея встретил мажордом.

— Явиль, наконец, канал! Знова не слюшаль, ходиль в свой одежка, как знатна гаспадин. Не забиваль: ты хлоп и должен носиль либрей.

8

ЧЕРЕЗ КРАЙ

Елизавета Ивановна решила лично осмотреть работы в «картинной галерее» и сделать Сергею необходимые указания. Она позвала с собой мужа:

— Пьер, вы должны оценить мой вкус, понять, что моя выдумка — не каприз.

У нее был торжественный вид, и Петр Андреевич бросился целовать ей ручки. Мажордом последовал за супругами, почтительно склонив голову и улыбаясь. «Ангель-баринь любиль, штоби вся улыбаль перед нее, как солнешний луш».

Сергей ждал господ, одетый «по форме».

Приложив к глазам лорнет, Елизавета Ивановна медленно обходила комнаты.

— Magnifique! merveilleux!..³ — тянула она томно. — Не правда ли, Пьер?.. Ты мне угодил, Серж. Получишь на чай. Ганс Карлович, распоря-

¹ Мастихн — хорошо гнущийся нож для очистки с палитры красок.

² Лессировать — в живописи масляными красками наносить тонкий слой прозрачной краски, через которую просвечивают нижние слои непрозрачной краски.

³ Великолепно! Чудесно!.. (франц.)

дитесь. Посмотрите внимательно, Пьер, на эту Венеру, играющую с амурами. Весьма удачное приобретение! Говорят, подлинная копия Тициана¹, только не подписана. А вот копия с ученика Рафаэля — Джулио Романо. Ах, так чувствуется влияние знаменитого певца мадонн! И, представьте, некоторое сходство со мной. Вы не находите, Пьер?

— Вылитый портрет, Лиз, я сразу заметил.

— А это — Мурильо². Тоже ценная копия. Я не люблю Рубенса³ и не выписывала его. Он слишком груб и натурален.

Она обвела взглядом комнату:

— А теперь, Пьер, обратите внимание на роспись стен и потолка. Это уже мое собственное... как это говорится... тво-ре-ние... Но... что такое?..

Елизавета Ивановна подняла брови.

— Что это, Серж? Все нимфы у тебя чуть не на одно лицо!.. Ты мне показывал одни фигуры, а лица, сказал, допишешь. Какие-то угловатые, чахлые девчонки! Одни глаза, улыбки и ни малейшего кокетства. Немедленно переписать всех! И побольше женского, чарующего мужчин кокетства. Тебе, конечно, трудно понять — я покажу сама... Вот так.

Елизавета Ивановна опустила ресницы, сделала «загадочную улыбку» и, приложив пальчик к губам и отставив ножку наподобие балетного полета, изогнула стан.

— Фора! Фора!⁴ — захлебнулся от восторга Благово.

— О, какой красота! — угодливо вторил немец.

Елизавета Ивановна обернулась. Лицо Сергея было непроницаемо.

В который раз его принуждали хоронить дорогой образ. В хороводе нимф, в свите богини Цереры, — всюду рука его рисовала любимые черты: тонкое, полудетское еще лицо с большими ясными глазами и счастливой улыбкой. Но теперь, помимо воли, лицо это стало таить в себе неуловимую печать обреченности, едва приметную грусть в тени милых глаз, в уголках рта, в легкой, почти незаметной складке между бровями.

Елизавета Ивановна побагровела: лакей, холоп не только не восхищался ее игрой, ее грацией, он даже не смотрел на нее. Она готова была его ударить.

— Чтобы завтра же все эти дрянные рожи были заменены! — сказала она резко и двинулась дальше.

Ни портрет Пьера в красной тоге римлянина, ни херувим Петенька, ни даже кокетливое «Колется», несмотря на сходство и мастерское исполнение, уже не смогли умерить ее вспыхнувшего гнева.

Подойдя вплотную к пастушке, изображавшей «Пестренькой» — вторник, — она резко остановилась:

— А это... что еще такое?

¹ Тициан (р. ок. 1477—1576) — великий венецианский живописец.

² Мурильо Бартоломе Эстебан (1617—1682) — знаменитый испанский живописец.

³ Рубенс Петер Пауль (1577—1640) — прославленный фламандский художник.

⁴ Фора — «бис», возглас одобрения в итальянском театре, требующий повторения.

Сергей не понял.

— На что изволите указывать, сударыня?

— Это...это... — задыхалась Елизавета Ивановна.

— Изволили приказать пастушку...

— Пастушку? — уже кричала барыня в истерике. — Это скотница, судомойка... свинарка... холопка... Мар-фуш-ка!

Действительно, то была горничная Марфуша. Несколько дней подряд она позировала Сергею. Девушка чувствовала себя счастливейшей на свете, помогая любимому человеку такой радостной и такой простой работой — сидеть в застывшей позе, смотреть на него, ловить каждое его слово. Могла ли она представить, что «он», по ком томилась она, вот уже три года, станет ее рисовать, да еще для господских хором. Там ею будут любоваться те самые господа, которые на нее кричат, могут выдрать на конюшне, чьей собственностью, живой вещью она была и будет до конца дней? Вот от этого неожиданного счастья и загорались ее глаза светом, который запечатлел художник на полотне.

— Ты посмел... посмел... в моей галерее... холопку? — звенел голос барыни. — Негодяй! Рядом со мной... Пьер! Пьер!..

Испуганный Благово подхватил рыдающую жену.

— Лиз! Мой ангел! Успокойтесь!..

— Холоп! Хам! — кричала барыня. — Накажите! Ганс Карлович... Вы слышите? Накажите!..

Петр Андреевич почти вынес Елизавету Ивановну из комнаты.

Потирая руки, мажордом вплотную подошел к Сергею:

— Нью-с, Сережия? Как тынперь? Наказаний? Строгий наказаний!

Сергей глядел на немца с ненавистью.

— Тынперь я могу... все сосчитать: ливрей — раз, дерзки гляз — два, непослушанье — три. Мой карикатур — ше-ти-ре! И, наконес, — он захохотал, — наконес, Марфутка! Пьять!.. И вот для нашаль...

Он размахнулся и ударил Сергея по лицу.

Сергей пошатнулся, вскрикнул от неожиданности, боли, оскорбления и бросился на немца. Сорвав со стены золоченую массивную раму, он стал наносить ею удар за ударом. Потом откинул разломанное в щепки дерево и схватил мажордома за горло. Оба упали на пол. Сильный, ловкий, весь напружинившийся, Сергей придавил коленом грузное, рыхлое тело и стал душить. Ганс Карлович захрипел и разом как-то обмяк. Сергей отшатнулся.

«Убил?! Неужели убил?...»

Глаза его, как в тумане, не видели ничего. Подойдя к стене, он прислонился пылающим лбом к холодной фреске.

«Теперь бежать... Далеко!.. Навсегда!.. На волю... к свету... к жизни!..»

— Скорее! Получишь на чай!

Извозчик гнал лошадь изо всех сил. Колеса громыхали по булыжнику. Прохожие оборачивались на бешеную скачку, видели человека, сидевшего с чемоданом в ногах и подгонявшего возницу:

— Скорее! Скорей! Прибавлю еще!..
— Куда же ехать, барин?
— На Васильевский остров! Первая линия.
У знакомого дома Сергей соскочил с пролетки, торопливо расплатился и чуть не оборвал звонок.

Лучанинов, как обычно, открыл сам.
— Сбежал! — тяжело дыша, сказал Сергей и почти упал на табурет в передней. — Приютить?

Лучанинов взглянул на него серьезно.
— Приютить я всегда рад. Но ладно ли для тебя будет?
— Ладно, Васильич. Все равно: тюрьма или солдатчина, все равно.
— Что случилось?
— Искалечил или убил немца-мажордома...
— Неужели... убил? — подсел к нему художник.
— Не знаю. Может быть. Не стерпел издевательства. Лежит немец в крови. А как, что — не помню.
— Да чем убил? Ударил, что ли?
— Ничего не помню.
Лучанинов даже растерялся.
— В какую же ты кашу вляпался, бедняга! И как думаешь теперь быть?

— Не знаю, Васильич...
— Уехать бы надо.
Сергей не ответил. Он не мог объяснить, что ему трудно бросить любимый город, где так долго и так безоблачно был счастлив когда-то. Но была еще одна причина, которую разгадал Лучанинов.

— Но, пожалуй, в Питере-то легче скрываться, чем где-либо. Твои Благово, поди, по всем заставам уже дали знать, — полиция всякого проезжего будет опрашивать. Лучше всего — не показывай пока и носа на улицу. Сиди у меня в мастерской, и баста. Донести-то ведь некому... А теперь рассказывай по порядку.

Сергей рассказал все.
— Ну вот что, друг, — начал Лучанинов, выслушав его внимательно. — Если ты на самом деле убил немца, туда ему, проклятому, и дорога. И завтра же каждая кумушка на рынке будет кричать об этом. Тогда и надо гадать: куда тебе кинуться подальше... Если же ты только оглушил его и ранил, — дело легче.

Сергей не перебивал. Он чувствовал в душе какую-то пустоту и странный покой.

— Оно, конечно, — продолжал приятель, — тебя и за такие дела по головке не погладят. Но раз ушел — значит, ушел, скинул хомут навсегда. Не возвращаться же в прежнюю упряжку! Она была не по тебе. Авось на свете найдется и для тебя местечко. Ты — художник настоящий, обидно бросать искусство. Там было не искусство — по приказу дуры барыньки рисовал. Кто знает, может, только сейчас и дано тебе выбраться на нужную дорогу.

Он нагнулся к самому уху Сергея и, возбужденно блестя глазами, заговорил вдруг шепотом:

— Может, и крепостным скоро будет воля. Офицеры Семеновского полка будто бы об этом с солдатами говорили. В октябре — не слышал разве? — в полку был солдатский бунт. Полк раскассировали и многих солдат посадили в крепость. А все же вольные словечки успели перекинуться от семеновцев к другим солдатам. В Питере немало людей, что читали подметное письмо, подобрешенное кем-то в казармах Преображенского полка. Там о воле говорится уже открыто. О правах солдата и крестьянина. Люди потихоньку толкуют, что скоро, дескать, должна прийти она, эта самая воля. Слышал я, и общество такое особое есть. А входят туда не кто-нибудь, а молодые люди самых благородных фамилий, даже из придворных... Видишь, надо только переждать... перетерпеть.

Сергей разом очнулся. Он стал жадно расспрашивать о слухах, о бунте, о членах тайного общества, стремящегося к освобождению крестьян.

— Ничего я, друг, толком и сам не знаю. Но думаю, что тайное общество действительно существует. И что свобода общая не за горами.

Они долго еще говорили о воле, об офицерах, которых Лучанинов не знал даже по фамилии, о солдатах, что попали за бунт в крепость, и о будущем Сергея.

— Перебейся как-нибудь это время, братец. Не губи себя неосторожностью. А потом уж попытайся отвоевать достойное твоего таланта место в жизни. Авось кривая и вывезет! Да погоди, совсем было запямятовал! На днях ко мне заходила дама...

— Какое мне дело до дам? — поморщился Сергей.

— Фамилия ее Ребиндер.

У Сергея захватило дыхание.

— Картины смотрела. Кое-что купила, оттого и деньжата у меня завелись. С мужем была, сволоочь он, я тебе скажу, порядочная. Парик немного съехал, лысина поблескивает. Не говорит, а скрипит: «Мари... Мари... душенька!» Не от тебя ли она и мою фамилию когда-нибудь слышала? А может, только о тебе узнать приходила? Адрес свой оставила... Вот!

Лучанинов показал узенькую визитную карточку с золотым обрезом и баронской короной, на которой тонким, так хорошо знакомым Сергею почерком было написано:

«Баронесса Ребиндер, рожденная Баратова. Санкт-Петербург. Миллионная улица, собственный дом, близ Зимней канавки».

И опять Сергей мчался на извозчике, подгоняя и обещая на водку.

Он увидит Машеньку только раз, один-единственный, последний, а потом... все равно... хоть Сибирь, солдатчина, смерть...

Он не послушался Лучанинова, уговаривавшего не выходить из дому, не рисковать.

Суровый, серый каменный дом с внушительным подъездом. Такой именно, как и подобает его владельцу, старому родовитому немцу, — холодный, неприветливый дом. На лестнице пахнет курительными бумажками, точно ладаном на похоронах, как говорила Сашенька Римская-Корсакова. И у швейцара, в ливрее стального цвета, мертвое, неподвижное лицо.

Сергей молча подал ему листок бумаги. На нем он заранее написал свою фамилию и строчку: «Прошу принять на два слова».

Швейцар передал записку сухому, чопорному лакею. Сергей остался ждать в передней, убранной с немецкой аккуратностью. Обои темные, под гобелен. Строгая громоздкая вешалка и зонтики с палками — в особой чужинной загородке. Все солидное, добротное, как и кинкетка¹ тяжелой бронзы, освещавшая унылую обстановку. В золоченых рамах — не картины, а немецкие изречения на темы о долге и бережливости. Как все это непохоже на милую девочку, искреннюю Машеньку... Как, должно быть, чуждо ее живому, бесхитростному уму.

Он услышал быстрые, четкие шаги, знакомое постукивание каблучков.

Сергей встал, опираясь на спинку стула. На минуту он точно ослеп.

Она остановилась перед ним, задышавшись. Потом, на глазах у важного лакея, молча схватила за руку и потащила за собой. Она вела его через анфиладу парадных покоев, все еще не говоря ни слова.

Перед Сергеем мелькала богатая массивная мебель в чехлах по случаю приближения лета, картины и люстры, завешенные кисеи, — все такое неподвижное, холодное. С одной овальной рамы, не скрытой еще почему-то материей, смотрело бритое лицо в напудренном парике, надутое, надменно-жестокое. Предок! А над рамой — пышный ребиндеровский герб.

Высокое зеркало отразило бегущую пару: Сергея, в его темно-синем фраке, и рядом — тонкую фигуру Машеньки. На лицах обоих были смятение и растерянность.

Машенька путалась в дорогом, слишком широком для нее, стеганом капоте, обшитом мехом. Она дрожала как в лихорадке; на бледном лице — ни кровинки, а рука казалась рукой больного ребенка, совсем восковая, с тонкими синими жилками. Только ее глаза сияли небывалым счастьем, неестественно огромные, глубокие, почти черные.

— Вот здесь...

Она остановилась, охватила его за шею, и вдруг легкое тело ее, окутанное шелком и мехом, разом точно поникло.

— Машенька!

Он усадил ее на кушетку и стал на колени. Только теперь он заметил, что на ней чепчик замужней дамы.

Она улыбнулась:

— Ну вот... и прошло. Я немного больна. Впрочем, не стоит глгать. Я очень больна, Сережа. И это хорошо. Молчи!.. Я знаю, что говорю.

¹ Кинкетка — старинная масляная лампа на высокой подставке.

Машенька закашлялась, и на маленьком кружевном платке осталось кровавое пятнышко. Собравшись с силами, она снова заговорила:

— Как хорошо, что ты пришел. Я верила... я знала. Не должно быть такой жестокости, чтобы я... ушла из мира... ни разу не повидав тебя больше...

— Машенька!

— Повтори. Меня никто уже давно не называет так, кроме дяди Феди, тетуски и няни Матрены Ефремовны. А для него... для барона... я «Мари». И для его родных — «Мари». Для света же — «баронесса фон Ребиндер». Ну какая я баронесса, ты же знаешь? Повтори.

— Машенька! Машенька! Машенька!.. Счастье мое, свет мой, радость, жизнь...

Она перебила:

— По приезде из-за границы, я искала тебя, Сережа. Сядь ближе, мне трудно говорить, а я хочу... чтобы ты все знал...

Сергей взял ее руки и закрыл ими свое лицо. Холодные, тонкие пальцы слегка вздрагивали.

— Слушай, — начала она совсем тихо, положив голову ему на плечо. — Я боролась. Я крепко боролась за тебя, за себя, за нашу жизнь, за наше счастье. Я ездила, хлопотала, просила, требовала... И все одна, — маменька, конечно, ничего не знала. Все тайком. Знала одна лишь Малаша. Ах, милая девушка! Потом я поняла, что борюсь за несбыточное. Ведь дело было не только в том, что ты крепостной. Я убежала бы за тобой. Но жизнь, послав мне такой страшный удар, подорвала меня. А во мне с рождения таился смертельный недуг. Счастье жило, воскрешало меня... Да, я была счастлива. Ведь и ты тоже? Да?

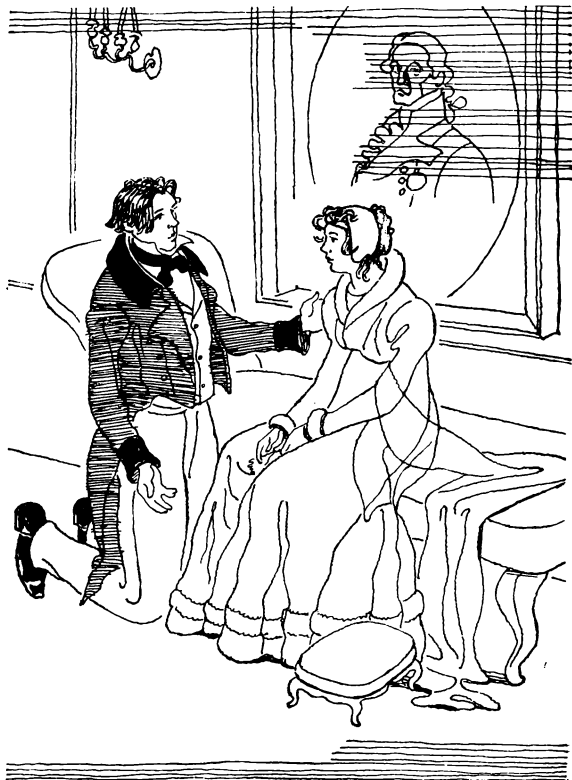
— Машенька!

Он плакал. Машенька старательно вытерла его слезы.

— Не надо слишком огорчаться из-за меня, милый... Говорят, древние боги завистливы к людскому счастью. Вот они и послали тебе — горе, а мне — смертельную болезнь. И у меня не хватило сил отвоевать счастье. Да, может быть, я только связала бы тебе руки. И я решила кончить все разом: умереть... Но умереть тоже не сумела. Тогда я согласилась умереть иначе, никого не пугая. Мой брак — смерть. Ты не смотри с таким страхом на мой платок. Кровь уйдет из меня и избавит от вечной тоски по тебе... от лжи и заточения... Ведь барон держит меня, как узницу. И он и маменька скрывают от меня жизнь. О тебе никто никогда не поминает. И к дяде Феду меня не возят.

Она говорила торопливо, свистящее дыхание мешало ей.

— Ах, как много надо сказать, пока барона нет дома. Сегодня он дежурный во дворце. Это так хорошо, когда он не рядом!.. Слушай: ведь маменька продала меня барону за то, что он заплатил все ее долги и выкупил имение. У нее теперь приличное состояние, и она сможет безбедно провести старость. Ты ее не суди строго, Сережа, — многие так делают.. Я знаю, ты тоже хлопотал, просил... Знаю, что из стараний Сашеньки Римской-Корсаковой ничего не вышло. Сережа, дорогой мой, любимый,



Сергей усадил Машеньку на кушетку и стал на колени.

разные дороги вели нас друг к другу. Встретились мы, но не смогли соединиться. Разве наша в этом вина?

Он посмотрел ей в глаза и почти простонал:

— Почему ты не подождала? Я слышал, скоро всем крепостным будет воля.

Она покачала головой:

— Вздор! Одни мечты. Я тоже слышала: бунты по деревням и по казармам. Не верю я в волю, Сережа! Они там все сильные и злые. Меня связал один барон, а у вас их много. Но сейчас мне хорошо, я счастлива. Ведь я смотрю на тебя, такого же чудесного, молодого, красивого, любящего... — И, сдвинув брови, сказала вдруг серьезно и строго: — Знаешь, почему мы с Сашенькой Римской-Корсаковой не сумели выкупить тебе свободу? Потому, что обе мы с нею — пустоцветы. Вроде одуванчиков. Распустился одуванчик весной, желтенький, как солнышко, засиял. А вызрел — стал белым, пушистым шариком. Подул ветер — и нет его... Мы с детства такие одуванчики. А вы росли, как боровики на опушке: вас поливал дождик, вы ходили босиком, а зимой — в лапотках. И стали сильными, крепкими, точно репки, — поди-ка, вытащи вас из грядки! Ненужные мы... Лишние и вам и себе.

— Машенька, родная! Что ты говоришь? Ты — ненужная? Да ты мне радость двойную подарила: свою любовь и работу над картиной. Ведь я тебя, твои глаза, твою улыбку, твою грацию видел! О тебе, как о солнце, мечтал...

— А где же она, твоя картина? — спросила она живо. — Твоя «Омфала»? Почему ее нигде нет, ни на одной выставке?

Сергей потупился.

— Мне не дали кончить картину. Я ее... оставил там... откуда бежал.

— Бежал?!

Машенька вскочила. На одну секунду в ней вспыхнула безумная надежда. Бежал? Она схватилась за грудь, точно удерживая рвущееся оттуда сердце. Потом бессильно опустилась опять на кушетку:

— Но ведь тебя... найдут... поймут...

Она хорошо знала, как крепостных наказывали за побег. Ее охватил ужас.

— Я должен был бежать... Я, кажется, убил оскорбившего меня немца-мажордома.

Она схватилась за голову.

— Милый, бедный ты мой! Как я виновата перед тобой! Может быть, я ошибалась? Мне надо было найти силы быть упорной... Ничего не бояться: ни болезни, ни смерти. И вырвать все-таки счастье: бежать за тобой, подкупить священника и обвенчаться? Что я наделала!.. Сережа, что я наделала! Я погубила тебя.

— За меня не бойся. У меня есть друг, он приютит, а потом я уеду. Но ты... ты?..

— А я? — Губы ее дрогнули. — Я скоро умру и успокоюсь навсегда. Меня повезут на днях в теплые края. В нашу с тобой Италию... Барон возил меня раньше в свое лифляндское имение, в замок, похожий на кре-

пость. Там мне стало совсем плохо. Теперь он делает последнюю попытку. Но это ни к чему. Я случайно услышала, как врачи говорили, что жить мне уже недолго. Я рада этому. Вот барону, правда, обидно: я дорого ему стоила. Ну что ж? Бывает, что купят куколку, а у нее отлетит головка, или, если она восковая, растает на солнце. Я вот растаяла на морозе... жизни.

Сергей не мог говорить.

— Ничего, у барона много денег. Он купит себе другую куклу, и теперь уже, наверное, более прочную.

Она смотрела на Сергея и, казалось, хотела заглянуть ему в душу:

— Милый, я в тебя верила и верю... и буду верить до конца. Может быть, правда, что придет воля. Может, ты еще выйдешь на добрую широкую дорогу. А я... я тоскую, Сереженька, о маленькой тропинке в деревне. Я бы на сене хотела поваляться. И на солнышке полежать, вместе с разными букашками на меже... когда оно сквозь колосья просвечивает...

Она гладила его темные вьющиеся волосы.

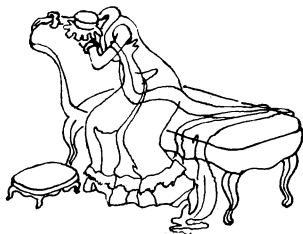
— Меня похоронят в баронском родовом склепе. А там холодно!.. Я просила Малашу, чтобы она дяде Феде сказала: пусть бы в старом маменькином имении... среди крестьянских могил... Я почти всех их знала. Да не послушают! — Она вдруг заволновалась: — Нам надо проститься, милый! Я не боюсь барона, теперь уж ничего не боюсь. Но он может тебя оскорбить и выдать... Малаша даст знать Лучанинову о моей смерти. Я ее и об этом просила. Ты обо мне, пожалуйста, не тоскуй. Так лучше. Я одуванчик и должна рассыпаться. Вот и все... А теперь подожди — у меня и к тебе просьба.

Она отстранила Сергея и, открыв ключиком ящик изящной шифоньерки, достала оттуда пачку денег:

— Возьми. Ради бога, возьми! Прошу тебя, во имя нашей любви... Это мои собственные. Ты должен их взять, чтобы жить и работать. Не тебе я даю их, Сережа, а твоему таланту, твоему будущему.

Сергей отшатнулся. Потом молча, крепко, до боли, обнял ее и бросился через анфиладу комнат в переднюю.

— Сережа, возьми!.. — долетел до него отчаянный крик.





Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

1

КУДА ИДТИ?

С чемоданом и ящиком красок Сергей шел по набережной Васильевского острова. Он решил не оставаться больше у Лучанинова, не подводить товарища. Кто знает, не нарвешься ли при встрече на дворника или квартального? И Миша Тихонов может невольно выдать, назвав Сергея невзначай по имени.

Надо скорее уехать куда-нибудь подальше. Но Сергей оттягивал отъезд, уверяя себя, что все еще опасно показываться на заставах. Он вспомнил, как часто летом на взморье селились неимущие «посторонние» ученики-художники, и никто их не беспокоил. Не попробовать ли пожить немного там, а потом уже пускаться бродяжить по свету?..

Сергей шагал по направлению к гавани, стараясь держаться противоположной от академии стороны.

Издалека он видел тяжелую дверь. Швейцар в галунах важным дви-

жением распахнул ее перед каким-то сановником, вышедшим из кареты, и, кланяясь в пояс, пропустил звездоносца в подвезд.

И пышная ливрея швейцара, и новая солидная дверь, и стройка во дворе — все это говорило о внимании к академии сильного и практичного Оленина. Этот человек, ретивый выразитель самодержавной воли русского императора и усердный помощник министра Голицына, заботясь о воспитании юношества, в то же время закрыл двери для тех, кто имел несчастье родиться крепостным.

Перед Сергеем широкой гладью раскинулась Нева, вся исчерченная сеткой мачт, темнеющая островками серых барок, кишашая ярко раскрашенными юркими яликами.

Сергей шагал и думал. Через месяц с лишком начнется двухнедельная выставка в академии. Лучанинов готовит к ней картину. Он не любит говорить о своих работах, пока не кончит. Работает упорно, «остервенело», по собственному выражению, отрешившись от жизни, почти без еды. Сергей ушел от него как раз в такой момент. Прочтет прощальную записку, укоризненно покачает головой и, прищурив маленькие медвежьи глаза, снова весь уйдет в работу. Счастливцев! У него нет ни терзаний, ни разочарований, ни лишнего мучительных вопросов. Он взял от академических учителей все, что мог, и дорога его идет гладко. И в бумагах значится: «С 1812 года уволен из академии со званием художника XIV класса и награжден аттестатом I степени, со шпагой и I золотой медалью». Добрый друг, редчайшее сердце и несомненно даровитый, но без особых исканий. Это не Миша Тихонов. Бедный Миша!.. Его крылья сломаны навсегда...

А может быть, и не надо этих мучительных поисков? Возможно, на месте Сергея Лучанинов крепко сжал бы зубы, как делал это, добываясь «верного ракурса», и стал бы терпеливо сносить унижения, надеясь на случайно залетевший к нему слух о воле. А главное, стал бы упорно работать, говоря, как говаривал Егорыч: «Их власть». Может быть, такое дарование, крепкое и упорное, ценнее, чем у вольнолюбивого холопа господ Благово и хрупкого Миши, ищущих новых путей?..

Он остановился, залюбовавшись знакомой картиной. Всем сердцем любил он красавицу Неву и прекрасный город, всегда точно подернутый таинственной дымкой. Он любил его летом, когда по круглым булыжникам мостовой стучали колеса и всюду раздавались звуки, напоминающие о суете столицы. Он любил его зеленые озера садов и парков, с белеющими в тени статуями, бьющие в высоту фонтаны, прямые улицы, «Невскую перспективу» и в конце ее похожий на золотой восклицательный знак шпиль Адмиралтейства.

Он любовался Петербургом и зимой, когда город бывал точно спеленат в мягкие снежные покровы. Из них, будто бы нарисованные графика, выступали стройные контуры домов, заиндевелившие кружева решетки Летнего сада, ряды зубчатых елок на переходах через погребенную в сугробах реку, замороженные зимним сном дворцы... Город колонн, каналов, дворцов и статуй... Он любил даже туман, кутающий так часто эту напоенную водой столицу. По ночам в нем мерцали фонари с огоньками в

радужных кругах, и все казалось тогда сказочным. Чудесный город, созданный вдохновенными художниками! Как нелегко с ним расстаться!

У Сергея заняло сердце. Долго ли еще он сможет жить среди этих прекрасных, ставших родными улиц и набережных?

Он смотрел на Неву, отойдя к груде выгруженных с кораблей ящиков и бочек. Над рекой стояла перебранка матросов на всех языках: на французском, немецком, английском, голландском, итальянском, датском... Грузили новые товары. По рядам ходили дозорные сторожа. Из полосатой будки выглядывал будочник с ружьем и грозно посматривал вокруг.

Что за одежды! Что за физиономии! Что за картинные фигуры! Какое смешение красок!

Сергей узнал доставленный для академии художеств груз: из Мюнхена, из Парижа, из Рима... Что-то дрогнуло у него в груди. Рим!.. Это картины. Кто тот счастливцев, что посылает из-за границы свои работы к выставке? А вот опять: «Рим, Великанов».

Великанов — фамилия купца, жившего в Италии. Он занимается пересылкой в Россию картин и разных товаров для искусства, начиная с карандашей, полотна, красок и кончая моделями для скульпторов и эстампами-гравюрами. Если бы Сергей не был выброшен за борт, может быть, в этих грузах, к которым подошел сейчас таможенный инспектор в своей зеленой форме, нашлось что-нибудь и для него.

Крепко пахло здоровым смоляным запахом канатов, смешанным с запахом реки, рыбы и гниющего дерева старых барок. У самой воды толпились голландцы в жилетках и белых рубашках, с засученными рукавами и вечными трубками в зубах. В наскоро сооруженных палатках хлопотали голландки в белоснежных чепчиках и широких шитых передниках. С солидными кофейниками в руках они переходили от маленьких плиток и жаровен к столам. Рядом, у лотков, слышалась звучная музыкальная речь итальянцев. Здесь блестели и переливались перламутровым блеском ожерелья из ракушек, дешевые камен, коралловые нитки и амулеты в форме маленьких ручек. До слуха долетали пыльные клятвы — продавцы расхваливали свой товар. Смуглые турки и греки возле больших корзин с апельсинами, золотившимися на солнце, не отставали от итальянцев. А неподалеку восторженно кричали дети у невиданных диковинок: морских коньков, рыб с голубыми и алыми плавниками, зеленых ящерич и хамелеонов... И над всем этим — разноцветные флаги разных государств.

На взморье толпились люди, они закидывали тоню. Здесь была тоже особенная жизнь. Лодочники и рыбаки селились тут, ведя здоровую, привольную жизнь летом, но тяжелую и опасную во время осенних бурь. Жен их торговали молоком.

На безбрежной глади Финского залива качались лодки. Они усеивали весь берег: большие серые — вблизи и черные точки — на горизонте. Сушились на кольях сети. Тут еще резче пахло рыбой и водорослями. Выброшенные морем, в белой ноздреватой пене, они окаймляли берег густой бахромой.

Сергей знал, что именно здесь бывало летнее пребывание пасынков академии, тех из «посторонних» учеников, кому не удавалось отправиться на натуру подальше. Они нанимали себе «летние квартиры» — попросту арендовали у рыбаков перевернутые набок лодки, своеобразные «дачи» немущих.

Бродя наугад по берегу, Сергей услышал знакомый окрик:

— Эй, Сережка! Поляков! Ты ли это, дружище? Вижу тебя в щелку. Узнав голос, Сергей радостно обернулся:

— Тезка? Хлобыстайко? Будто тебя слышу, только малость охрипшего.

В ответ прозвучало нарочито солидно:

— Во-первых, я тебе не «тезка» и не «Хлобыстайко», а Сергей Кузьмич Хлобыстаев — художник. Во-вторых, я вовсе не охрип. Это мой вельможеский басок.

«Академический» товарищ вылез наконец из-под ближней лодки и подошел вразвалку к Полякову.

Невысокий, ширококостный, с большим лбом, он был очень живописен на фоне песчаного берега.

— Обрати взор налево, — продолжал он, улыбаясь узенькими глазами. — Подобный же дворец — палаццо и у Пустовойтова. Для жалкого, суетного света мы оба — исключенные холопы, а для людей понимающих — творцы и владельцы.

Из-под соседней лодки вылез и Пустовойтов. В академии их нередко путали: оба коренастые, сильные, как кражистые пни.

— Пожалуйте, Сергей Васильевич, в мои апартаменты, — с церемонной важностью возгласил Хлобыстаев и снял давно выгоревшую шляпу. — Готов сделать, если пожелаете, придворный поклон, как изображается на старых французских гравюрах. Вот только не взыщите, страусовым пером на головном уборе пока не обзавелся...

Согнувшись, Сергей вошел в «палаццо». Там было убрано с аккуратностью хозяйственного мужичка. Все на месте: мольберт с морским видом, рядом, на табуретке, — ящик с красками; на гвоздике — палитра и даже гитара с голубой лентой. Снаружи возле входа была сложена из кирпичей маленькая печурка.

— Гитарой я покоряю сердца прекрасных рыбачек, — объяснил владелец лодки и, высунув голову, закричал:

— Эй, Пустовоика! Андрюшка! Чего же ты не идешь? К нам пожаловал не кто-нибудь, а сам чистюля Сергей Васильевич Поляков!.. Да ты не обижайся, Сережа, я шучу. Думаешь, я забыл, как ты мне позировал для Минервы, когда у меня на натурщицу денег не было? Теперь у меня постоянная натурщица — здешняя рыбака. Только мало приходится работать над жанрами. Пробавляюсь больше видописью. Стал заправским маринистом. Готовая натура всегда перед глазами.

Захрустел песок. Подошел Пустовойтов, и снова Сергей почувствовал дружеские объятия. Потом вдвоем уселись возле печурки. Скоро на ней забулькала в котелке вода.

Хлобыстаев домовито вычистил рыбу, сосредоточенно посолил ее и опустил в кипяток.

— «Лаврушку» для духа принес? У Андрюшки всегда запас «лаврушки»... Вот и в рифмы получилось.

— На листики, кашевар, непризнанный поэт-самоучка! — гаркнул Пустовойтов, подавая пакетик с лавровым листом.

Запахло вкусно ухой. Ели с аппетитом, черпая деревянными ложками из котелка по очереди, как и полагалось приятелям, знакомым с укладом простой деревенской жизни.

— А я пришел посмотреть, — начал разведывать Сергей, — как тут живут на летнем положении братья-художники.

— Живут неплохо, — отозвался Хлобыстаев. — Домовничаем, как некие Робинзоны, по роману английского сочинителя. Вот бы и тебе к нам на летние месяцы.

— А как у вас с паспортами? — осторожно спросил Сергей.

— С паспортами как нельзя лучше. Нас выперли из академии не за то, что господа нас к себе требовали, а за то, что господа не дали нам вольных. Мы с Андрюшкой платим господам оброк. Платим и ждем с надеждой вольности. Купцы знакомые за нас всю хлопочут. Мы же тех купцов в самом наилучшем виде на портретах расписываем.

Пустовойтов с ртом, битком набитым картошкой, добавил:

— Золотую цепочку по пузу выводим лихо, и цилиндр, и прочие деликатности.

— А то продаем им по сходной цене «Штиль на море» или «Бурю» — на выбор, по темпераменту. Можно и «Хороший улов» или «Рыбачку, тощующую о женихе, ушедшем в море». Темы самые разнообразные.

Вытащив из ухи рыбью голову, Хлобыстаев старательно обглодал ее, отшвырнул подальше и громко рассмеялся:

— Купцы — это тебе, братец, не академические оценщики. У них главное — подходила бы картина к обоям, да чтобы «его степенство» был изображен на берегу моря под пальмами, хотя пальмы в нашем климате, как известно, не произрастают.

— А ежели картина уж очень понравится, — ввернул Пустовойтов, — то сверх денег и окорочек телятинки или головку сахару можно получить.

— Такие картины, — перебил Хлобыстаев, — понятно, на выставку не понесешь. А все же они кормят. Но на выставках в академии мы бываем аккуратно. Вот и теперь скоро пойдем, как откроется. Пойдешь с нами, Сережка?

— Там видно будет... — пробормотал Сергей уклончиво.

И стал расспрашивать о старых товарищах, о тех учениках, которые остались кончать академию.

Приятеля нещадно ругали Оленина, рассказывали, что Карл Брюлло уже получил золотую медаль, а Иордан, за маленький рост, опять остался на лишний год.

Пустовойтов фыркнул:

— И почему это самому Оленину рост не помешал в такую силу войти?

— А-а, плевать на него! — презрительно сморщился Хлобыстаев. — Мы тоже свою собственную сановитость имеем. Заплатив денежки за билет, козырями ходим по выставке. На-ка, дескать, Оленин, выкуси! Забы все знаем, как дома в них. Перед его высокопревосходительством шапку ломать теперь тоже не к чему. И выгнать нас нельзя, как выгнали три года назад, потому за вход — за-пла-че-но!.. Во где досада-то Оленину!

Сергей решил наконец спросить:

— А если у кого... паспорта нет?

— Это ты к чему? — спросил Хлобыстаев.

— Ну, скажем, пришел бы к вам кто без паспорта жить?

— Бродяга?

— Ну, скажем, у тебя бы господ паспорт отобрали?

— Стал бы жить без паспорта.

— Разве полиции здесь не бывает?

— Может, когда и бывала, да мы ее ни разу не видели. Здесь просто. Здесь рыбацкое царство!

Сергей схватил приятеля за руку и разом выпалил:

— Братцы, ведь я убежал от господ, и паспорта у меня нет.

— Дурак, Сережка, чего не сказал прямо! — буркнул Пустовойтов.

— Подумаешь, велика беда! — презрительно скривил рот Хлобыстаев. — Так тебе в самый раз оставаться с нами. Ничего не бойся! Заживем на славу втроем. Собственную лодку тебе сосватаем.

— Этакое тоже палаццо венецианского дожа...

— Одним словом, Италия, которой тебя лишили российские сановники.

2

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

Сергей остался на взморье. У него появилась арендованная лодка и собственное несложное хозяйство. Так же, как Хлобыстаев и Пустовойтов, он начал писать «морские видики», иногда даже с пальмами на берегу «некоего» залива. Товарищи продавали их гуртом со своими работами купцам и приносили его долю выручки.

Он писал, сжав злобно губы и ненавидя эту работу. Чувствовал, как скатывается творчески к мазне «наотмашь», по выражению Васильева, предостерегавшего его заветами своего профессора.

Часами сидел он на пустынном берегу, где-нибудь в стороне от людей, подставляя влажное от морской воды тело солнцу и ветру. И тело сделалось скоро смуглым, почти коричневым.

«Стал черен до неузнаваемости, и то хорошо, — думал художник. — Да, здесь и действительно неплохо... Всякий занят своим делом и мало обращает внимания на другого».

Из лачужки, глядевшей подслеповатым окном с пригорка, выходил порой бывший хозяин лодки Хлобыстаева — рыбак. Загородив рукою глаза от солнца, он вглядывался в даль берега и протяжно звал:

— Ма-а-аша! Ма-а-ашутка! Доч-ка!..

«Маша? Тоже Машенька...»

А вон и она, — полоскала белье, как обычно, стоя на камне. Ветер отнес голос отца, и она его не слышала.

Ближний сосед-старик, ковыляя на больных от ревматизма ногах, развешивал на кольях сети и поглядывал на море. Верно, поджидал возвращения оттуда сына.

Но порой к Сергею подкрадывалось беспокойство:

— А что, если полиция все-таки набредет на след?..

Хлобыстаев успокаивал:

— Мышь ищут в кладовой, а она умная, спряталась в мешке с крупой. Прятаться под самым носом у полиции всегда надежнее. Мы здесь словно растворились среди рыбаков.

И Сергей перестал думать об отъезде.

Сегодня он остался на берегу один — сожители отправились в академию на выставку.

Сергей заранее знал, что, вернувшись, они будут говорить о ней, станут бранить Оленина и кое-кого из профессоров. И обязательно скажут: «Кабы ты не нашел в бане Агафопода, разве можно было рисовать с таких орясин, как прежние натурщики? Половиной успеха выставка обязана тебе. А вместо благодарности тебя выгнали из академии, подлецы!.. Что же Егорыч, так тебя хваливший всегда, не сумелстоять?»

«Разве с ними, со звездочесами, поспоришь? — поддержит непременно и Пустовойтов. — Их — целое министерство, кроме Оленина. А сам царь-бабушка?..»

Да, то, что Сергея выбросили из академии без всякой надежды когда-либо вернуться, губит его. Но он не должен сдаваться. Талант его не угаснет на этих временных «видиках с пальмами». Нет, сила воли удержит от творческого падения. Машенька сказала: «Я верю в тебя и буду верить до конца...» Может быть, действительно придет воля, — недаром же говорил о ней Лучанинов.

Но сердце болезненно ныло. В душу пробирались апатия, пустота, безразличие...

Как далекая, несбыточная мечта, вспоминалась большая программная картина, с таким огнем исполняемая, полная любви к Машеньке, к жизни, к светлому будущему. Она осталась в господском доме и, вероятно, выкинута. В лучшем случае ее подобрал Егорыч. Глядя на нее, старик сокрушенно качает головой и бормочет:

«Пропал человек. Не давали шить золотом — не стал бить молотом».

Даже в дурацкую галерею Благово «Геркулес», конечно, не попадет, не станет рядом с «настоящими копиями», выписанными Елизаветой Ивановой из-за границы. Он не окончен и не покрыт лаком, краски пожухли... А остальные его работы? Все эти портреты, раскиданные по разным вельможеским домам, которые так хвалила когда-то знать, где они? Возможно, они и займут почетное место в чьей-нибудь портретной коллекции. Но под ними не будет никакой подписи. Их творец останется безымянным. Все эти

красавицы в балльных платьях, баре в мундирах со звездами на ярких лентах, с перстнями на пальцах, высокомерно надутые или надменно-снисходительные, и дети с пышными локонами, с шаловливыми улыбочками, — все они, созданные его руками, будут смотреть, как живые, из рам. Их будут показывать гостям и снова хвалить за прозрачность красок, за вдохновенную правду. А вельможа-собственник объяснит:

— Это работа неизвестного крепостного. Э... э... забыл, как его звали... Был изряден в живописи, как видите.

И имя Сергея Полякова покроется плесенью забвения, как имена многих талантливых людей в крепостной России. Барское чванство губит искусство. Рабу приходится делать не то, что родилось в душе, захватило ее, выросло и окрепло. Ведь владельцу принадлежит не только тело раба, но и его мысли, чувства.

Сергей усмехнулся:

«Ведь и счет холопов ведется «по душам»...»

Но кто крепок, силен, умеет применяться к обстоятельствам, — выдержит каторгу, как выдержал, например, Тропинин. Бывают и счастливые случаи. Сжалится «добрый господин» или «за ненадобностью» позволит выкупиться, и ты — на верху гребня. Как вон та щепка, что поднялась сейчас на волну... А нет — лети в бездну!

Сергей закрыл глаза. Ветер обвеивал его, теплый летний ветер. Перед смкнутыми веками снова поплыли воспоминания.

Потом вернулась упрямая мысль:

«Разве нельзя продолжать учиться вне академии? У самой природы? Академия дала крепкие основы искусства. И это очень много. Это главное. Остальное даст жизнь. А позже... может быть, придет и желанная воля».

— Во-о-ля!.. — крикнул он вдруг с надеждой и вызовом.

И волна, плеснув на берег, точно ответила ему утвердительно.

Он почувствовал странную легкость во всем существе. Нет, не в одном личном счастье смысл жизни. И что для настоящего художника одна картина, оставшаяся случайно неоконченной?

Сергей не верил себе: тоска стала как будто замирать. Боль воспоминаний заменили размышления о спорах в Петровском, об исканиях своих и Миши Тихонова, об упорном труде Лучанинова, о задачах живописи вообще... Ведь тогда, в бытность ученичества, он и не предполагал об опасности исключения, о приезде Благово. Но уже ясно сознавал, что отходит от традиционных приемов академического классицизма. Тогда уже мечтал о новых формах, о новых сюжетах, о новой дороге в искусстве. Что же? Значит, он и тогда уже стал отходить от картины, тему которой ему почти навязали в академии? Ее уже и тогда начала вытеснять правда жизни. Значит, уж не так она ему дорога? Значит, он охладел к ней сам.

Так чего жалеть? Потерянных лет? Он их наверстает. Теперь в его новых произведениях будут не надуманные, стесненные условностями фигуры, а подлинно живые люди. С полотна будет улыбаться его промелькнувшее счастье — Машенька, Марфуша, Елагин, ямщик из Псковской

губернии, цыгане... Все те, что ходят сейчас по земле, чей облик понятен каждому, как смех и отчаяние, как ласка и гнев.

Пусть он временно отстранен от этой работы, — годы его еще не ушли. Он молод. Он догонит жизнь. Догонит и, может быть, перегонит. Он не позволит убить в себе силу духа личными неудачами. Академия успела научить его технике, композиции, верному рисунку. Недаром его профессором был прославленный Егоров, удививший в свое время итальянских художников.

Будучи пенсионером в Италии, Алексей Егорович в защиту русского мастерства нарисовал углем, не отрывая руки от стены, на память, классически правильную человеческую фигуру, начав линию с большого пальца левой ноги. Итальянцы сочли за чудо этот общий единый очерк, со всеми мускулами и деталями, без малейшей ошибки.

Да, академия дала прочную основу. Теперь надо выйти на дорогу своими силами, дойти до цели самостоятельно.

— А ты, Сережа, все загораешь?

На плечо легла широкая рука Хлобыстаева. Хохот Пустовойтова раскатился по берегу. Оба приятеля были нагружены пакетами и кульками.

— Купцы дали, — показал на них Пустовойтов. — Бакалейщика и его жену писали. И уж не под пальмами, а под бархатным балдахином, с золотыми кистями, наподобие царствующих особ. Ну и портретец вышел — чудо-юдо рыба-кит! А мы за тобой. Марш в палаццо, выпьем и закусим.

Сергей оделся и пошел за художниками. В печурке быстро зажегся огонь, зашипело на сковороде сало для яичницы. На глиняное блюдо лег копченый сиг и розовая лососина. Из другого кулька достали ветчину, пряники, сахар, леденцы, пакетик чая, душистый белый и черный хлеб, сливочное масло и, наконец, две бутылки с вином.

Хлопали пробки, а товарищи рассказывали наперебой:

— Были на выставке...

— Погоди, Хлобыстушко, сперва о купцах!

— Ступай ты с ними к чертовой бабушке! Надоели они до тошноты, — дай им бог здоровья за тароватость... Пей, Сережа, вино греет душу. Не на похоронах ведь сидишь с неутешной вдовой, а с веселыми, задушевными приятелями.

Сергей пил, и у него кружилась голова. Он будто плыл куда-то, где исчезало все тяжелое, заволакиваясь туманом.

— «Не умеешь шить золотом, — говорил он, смеясь, — бей молодом!» Нет, я у купцов работать не хочу. Довольно с меня было и бар.

— А купцы о тебе спрашивали, — дразнил Хлобыстаев.

Сергей упрямо тряс головой:

— Говорю, не хочу. И не буду...

— Ну, не надо купцов, — кто тебя неволит? — снова подмигивал Хлобыстаев. — Мы тебе одних купчих...

— Не хочешь и купчих, так мы лихих генералов найдем, — подхватывал Пустовойтов. — Видели мы их сегодня на выставке. Умора! Блеску, грохоту, звону — страсть! Но мы с Хлобыстайкой идем, не сторонимся. Сами, дескать, с усами. Знатные баре в собственных каретах подъезжают. Оленин за ними так и ходит. От старания ордена даже на груди трясутся. А мы и ухом не ведем. На картины смотрим, громко, во весь голос, критикуем. Одним словом, плюем на все их почеты. То-то люблю!

— Еще как люблю! — хохотал Сергей и обнимал Пустовойтова. — Только я не хочу и генералов. Я буду теперь работать только по-настоящему... как обещал уважаемому профессору Алексею Егоровичу Егорову, своему доброму хозяину Якову Андреевичу Васильеву и... еще одному милому человеку... одной... другу одному сердечному... Обещал и должен исполнить.

— С голоду подохнешь, Сережка!

— А может, и не подохну, а выживу. Я крепкий! Кого вы там на выставке видели?

— Сейчас доложу все по порядку. Первого, — Хлобыстаев загнул палец, — мы видели из старых учеников Иордана. В гравюре подвинулся здорово, а живет небогато. Отец-то был не велика птица — придворный обойщик в Павловске, а мать — дочка придворного столяра, немчура аккуратная, каждый грош на счету. Как привезла сына в академию, так и не брала в отпуск несколько лет: казенные-то хлеба дешевые, да и осталая детвора одолела. Впрочем, заграничная поездка Иордану обеспечена. — Он заложил второй палец. — Карл Брюлло гоголем расхаживает. Зо-ло-тая медаль, не шутка!.. Этот уж, наверное, скоро поедет в Италию. С ним все носят — и профессор, и ученики-товарищи. Его профессор, Александр Иванович Иванов, просто сияет, — ученичок-то выходит на славу. Один Оленин не устаивает гордость академии особым вниманием...

— А сторожа Анисима, грозу младших классов, — перебил Пустовойтов, — Оленин считал. Сволочь был, а все же столько лет служил. Не ожидал небось такого афронта! У меня до сих пор от него памятка на спине.

Товарищи расхохотались.

— Видал я на выставке и графа Федора Петровича Толстого, — снова загнул палец Хлобыстаев. — Похудел и весьма печальный на вид. Сказывали, тоскует по какой-то будто бы племяннице.

Пустовойтов тронул Сергея за рукав.

— Сережка, ведь ты был у него вхож в дом, верно, знал и племянницу. Повезли ее, больную, на теплые воды, а она дорогой и скончалась. там и похоронили...

Сергей неожиданно пошатнулся, встал и молча пошел к себе.

— Куда же ты, Сережка? Чего ты?..

Сергей не ответил.

Сидя на ящике и охватив голову руками, он сдерживал рыдания. Губы его беззвучно шептали:

— Ведь я тогда уже простился... на Миллионной... Так чего же я?... Чего?..

...Сергей переехал через Неву на ялике около 21-й линии Васильевского острова. Чтобы избежать возможных встреч, он пошел глухими улицами и переулками Коломны к центру. Ему необходимо было купить полотно. Он твердо решил начать новую картину. Сюжетом ей послужит сцена в Петровском — «Искания художников». Три фигуры: Лучанинов, Тихонов и он сам. Лунная ночь заглядывает в глубину сарая. На сене — три друга. Спорят. Лицо Миши кажется особенно вдохновенным. Может быть, и фигура Елагина в охотничьем костюме... Это — жизнь.

На Вознесенском проспекте, рядом с мастерской скрипок, было несколько лавок антикваров. В раскрытые двери виднелась художественная мебель: на стенах поблескивали золоченые рамы картин. Здесь, говорили, можно иногда купить и полотно, уже натянутое на подрамник. Тем лучше, значит, не придется идти дальше. Надо быть осторожным. Недавно разнеслась весть об убийстве одного видного ростовщика, убийцу искали везде. Следовало бы, пожалуй, до поры до времени сидеть по-прежнему в лодке. Но хотелось как можно скорее начать работать серьезно.

Был ранний час, магазины только что открылись. Сергей остановился перед лавочкой с узкой дверью, возле которой стояло несколько картин в рамах и просто на подрамниках. Какой-то человек в картузе торговался с хозяином-антикваром.

Седобородый чухонец-антиквар качал отрицательно головой:

— Хлям!.. Все — хлям, сказано!..

Сергея потянуло взглянуть на картину. Он знал, что иногда среди действительного хлама попадают и редкие произведения искусства. Подходя ближе, он остолбенел: Его «Геркулес»! Его детище!..

Но, бог мой, что с ним сделали! На белом овале, где он собирался написать когда-то лицо «Омфалы», чьей-то озорной рукой была намалевана рожа с высунутым языком.

Чухонец стучал по картине пальцем и говорил:

— Кому надо? Глюпость!

Человек в картузе предлагал:

— А ты девуку отрежь. А голый мужик — ничего. На манер акробата в балагане. Ничего!..

Он обернулся. Сергей узнал дворника Благово.

— Кого я вижу? Сережка! — И, хватая Полякова за руку, дворник закричал: — Беглый! Холоп Благово! Наш Сережка! Караул! Держи, держи его!..

Сергей вырвал руку, оттолкнул его в грудь и бросился бежать. А за ним неслось:

— Держи! Держи! Беглый холоп! Караул!..

И пронзительный свисток квартального.

Сергей юркнул в проходной двор, выбрался на Пряжку и пустился назад, к яличной пристани.



Сергей остановился перед лавочкой с узкой дверью, возле которой стояло несколько картин в рамках и просто на подрамниках.

О С Е Н Ь

Надо чем-то жить, а рука не поднимается взять кисть. Все ровнившиеся в мыслях образы точно зачеркнула отвратительная рожа на его картине, — издевательская мазня, вероятно, казачка Прошки. Это было какое-то наваждение: высунутый язык, казалось, плевал ему в душу, где жило до сих пор дорогое лицо умершей подруги.

На палитре засыхали краски, а он сидел, не притрагиваясь к ним.

— Что же ты ничего не делаешь, Сережа? А мы хотим заказом выгодным с тобой поделиться. Натюрморт, фантазия, а также обстановка для наших бакалейщиков. Чтобы побольше позолоты и пышности. По нашим рисункам их степенства и мебельщикам закажут. Платой не обидят, значит, заработаем хорошо.

— А рожи писать не надо? — глухо спрашивал Сергей.

— Ни бже мой!..

Хлобыстаев смотрел на Сергея. Ему было жаль товарища: сидит без гроша столько времени!

— Возьмешься?

— Согласен.

Потянулись серые дни постылой работы. Сергей думал только об отъезде из Петербурга. К сожалению, приходилось снова выжидать. По всем заставам и закоулкам о нем дали теперь опять, конечно, знать. Здесь же, на берегу, за все лето он не видел ни одного полицейского. Забудут о нем, и тогда — прощай наконец прекрасный город былой мечты!

Осень подкралась незаметно. Море стало бурным. Ходили слухи, что в Финском заливе затонуло несколько шведских судов. Стали недосчитываться и рыбацких лодок.

Дочка рыбака Маша весь вечер и всю ночь проплакала на берегу, не дождавшись возвращения отца.

Маленькая, тощая, она сидела, сжавшись в комок и сливаясь с серыми гранитными камнями. Коврижка, которую дал не знавший, чем ее порадовать, Хлобыстаев, размякла у нее в руке. Светлые пряди волос были влажные, липли к худенькому неказистому лицу.

Не переставая всхлипывать, она говорила своему утешителю:

— Хорошо тому, кто не здесь живет и у кого есть маменька... Моя да-авно-о-о померла. А батюшка... Что он? Одно слово — рыбак. Ох, что я стану делать, как и он помрет?

И раскачивалась, и охала, глядя на пенящиеся в сумраке гребни волн.

— Ведь со вчерашнего утра ушел в море. С самого утра!..

— Ну теперь уж скоро вернется! — успокаивал ее Хлобыстаев. — Хочешь, я тебе лучше на гитаре сыграю?

— Ох, не хочу! Не до гитары мне... Вон оно как ревет, море-то! Два

года назад вот так-то уехал мой брат и не вернулся. А после море выбросило на берег распухшего, страшного. И не узнать. Схоронили, а батюшка все бережет его куртку, подушку, одеяло, даже пачпорт. Другой раз перебирает вещи и плачет, когда никто не видит... О-ой, что я стану делать? Как жить, ежели и батюшку унесло море?

— Ну чего рано плачешь? Может, и вернется еще, — гладил ее по голове художник.

— А какая моя жисть, ежели и вернется? Выдаст за рыбака такого же, как сам, незадачливого. Сиди потом так-то на берегу и жди: вернется ли муж? О-ох!..

И новый взрыв рыданий под аккомпанемент бури.

Хлобыстаев всем сердцем жалел это тщедушное простенькое существо. Отнимая руки от ее мокрого лица, он клялся, что никогда не оставит ее и даже женится на ней. Станет беречь и заботиться о ней. Он был сам в отчаянии:

— Машутка... глупая... да не реви ты!..

Они сидели обнявшись и не спускали глаз с сердито воющего моря.

С рассветом на горизонте показалась наконец долгожданная точка. Она росла, приближалась, и девушка узнала лодку отца. Жизнь входила в привычное русло.

Дни потекли по-старому. Маша хозяйничала у своей хибарки. Рыбак, чуть живой после бурной ночи, занесшей его невесть куда, отлеживался. Впрочем, рыбы он привез достаточно, и у художников несколько дней варила жирная уха.

Но Сергей решил искать другого приюта.

Темное, мрачное море с серыми гребнями, точно взвешившиеся грибы зверей, бешено ревели. Налетали порывы резкого ветра. Все кругом поблекло, слиняло. Берег обезлюдел. Старый рыбак не показывался, а Маша продолжала ходить с заплаканными глазами.

— Болеет батька. Что, как помрет? — твердила она уныло и монотонно. — С самого того дня все болеет и болеет.

— Женюсь на тебе, женюсь, моя безглазенькая Психея, — мягко повторял Хлобыстаев.

Она смотрела на него с недоверием и симпатией.

Дни хоть и стали короче, но тянулись для Сергея в мучительном тоскливом однообразии. Ночи проходили без сна: мешал вой ветра, мешали мысли.

Увидев его однажды с чемоданом и ящиком красок в руках, товарищи закричали наперебой:

— Куда ты?

— Моря осеннего испугался? Уже в поход?

— Так не лучше ли поискать приюта порожняком, а багаж оставить на время в палатке? Не пропадет. Моя прекрасная рыбацка присмотрит. Разве мало мы так-то оставляли с Пустовойкою?

Сергей замотал головой:

— Нет, пора. Я не маринист, и осеннее море на меня наводит уныние. Да и лодка — плохая защита от холода.

— Куда же ты пойдешь? — спросил Хлобыстаев.

— Сам еще не знаю. Ведь и вы собирались уходить?

— «Н-не-не знаю!» — передразнил Пустовойтов. — Вот и Хлобыстка уговаривает пережить зиму в хибарке у нашего хозяина. Можно писать и зимние пейзажи: лед, сугробы, ну, и все прочее. Если купцы нам не предложат чего-нибудь получше, хибарка нам всего более по карману. Во всяком случае, рыбачка и ее почтенный родитель будут знать нашу резиденцию, коли насчет работы тебе понадобится узнать. Ведь ты хорохоришься и не желаешь сам идти к нашим купчикам-голубчикам. А у них, между прочим, можешь быть и сыт, и пьян, и нос в табаке, — только угоди.

— Не пойду! — коротко отрезал Сергей.

— Что же прикажешь делать с остальным твоим имуществом? — помирачев, спросил Хлобыстаев.

Сергей засмеялся:

— Это с самодельным мольбертом-то, ящиками, сковородкой, кастрюлькой и стаканом? Отдайте прекрасной рыбачке для будущего хозяйства молодоженов. А пока спасибо вам, други, душевное. Буду помнить всю жизнь ваш приют и ласку. — Он огляделся. — И море буду помнить, и лодку... Пожелайте мне скорее дойти до пристани.

— До какой, Сергей? — спросил Пустовойтов и закончил трагическим басом: — Конечная пристань каждого смертного — могила!

— А хотя бы и так, — усмехнулся Поляков.

— Все ты врешь, Пустовойко, — ткнул Хлобыстаев приятеля в бок. — Конечная пристань и цель каждого человека — удача.

— Пусть будет и по-твоему, — согласился Сергей.

Хлобыстаев на минуту задумался. В маленьких монгольских глазах его появилось лукавое выражение.

— Погоди! Я сейчас.

Он вызвал Машу и горячо зашептал ей что-то. Она слушала с недоумевающим видом. Потом растерянно возразила:

— А как же батенька? Ведь он на память хранил...

Хлобыстаев, видимо, настаивал:

— Ну будто бы затерялся. Какая же у тебя ко мне после этого любовь, если ты жалеешь пустой бумажонки?

— Да зачем она вам?

— Твою любовь испытать хочу. Машутка, да ты не бойся, я пошутил! Подержу и отдам. И надобен-то он мне на время, если господа к себе потребуют. Поняла? Смотри: не дашь, может, счастье свое упустишь. Желать уже не смогу, господа не позволят.

Она взглянула на него исподлобья и побежала домой.

Скоро она вернулась с какой-то бумагой.

— Ох, хватится батька! Что тогда будет?

— Ма-аша!.. — донесся зов рыбака.

Девушка ахнула, махнула рукой и помчалась вихрем к отцу, бросив бумажку Хлобыстаеву.

Тот поманил Сергея к себе в лодку:

— Вот тебе паспорт сына рыбака. С сегодняшнего числа ты становишься братом моей прекрасной рыбачки, — сказал он торжественно. — И, ежели ее отца и меня возьмет курносок — сиречь смерть, — ты должен будешь по чести о ней заботиться. Понял? Обещаешь?

Сергей был потрясен и не находил слов.

— Отныне, — продолжал Хлобыстаев, — ты — Василий, сын Михайлов Крендельков, помни. Моя Машутка — Кренделькова. Аппетитная, знаешь ли, фамилия! А скоро, возможно, это все же не исключено, будет носить еще более громкое имя — Хло-бы-ста-евой.

Сергей с трудом выговорил:

— Спасибо, тезка... Не знаю, как и благодарить.

— Облобызаемся, друг, — подошел Пустовойтов и полез целоваться.

— Помни, Сережка, — заговорил Хлобыстаев дрогнувшим голосом, — если нужна будет работа, мы всегда поможем. Обращайся без всяких фигур-милей...

— Помни, Сережка, — как эхо, повторил Пустовойтов.

У всех троих были взволнованные лица.

Последнее крепкое пожатие рук, и Сергей зашагал прочь от берега. Проходя мимо хибарки больного рыбака, он стукнул на прощание в засиженное мухами оконце.

4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИНТ

Просторный мрачноватый кабинет с большим столом, заваленным листами александрийской и ватманской бумаги — архитектурными чертежами. На отдельных столиках и этажерках — рисунки; на стенах — образцы барельефов. На камине — бронзовые часы с серебряным боем, в виде Атласа, поддерживающего земной шар. А за столом — невысокого роста человек с хрящеватым носом и вельможным выражением лица. Это его высокопревосходительство президент академии Алексей Николаевич Оленин.

У президента напряженный день. В ожидании назначенных приемов он пригласил к себе Федора Петровича Толстого.

Почти юношеская фигура знаменитого медальера в мундире отставного флотского лейтенанта, со спадающими к воротнику русыми кудрями — смесь военной выправки и художественной вольности, — мало вязалась со строгой парадностью президентского кабинета. Еще в 1809 году, к удивлению некоторых старых профессоров, Федор Петрович был избран почетным членом Академии художеств.

— Военный, почти мальчик, — говорили они, — и вдруг — почетное звание!

— Ежели бы у него имелись генеральские эполеты — туда-сюда. Но, прости господи, только лейтенант!

— Статочное ли дело, художник из вольноприходящих, и вдруг...

— Конечно, ничего не скажешь, его барельеф «Триумфальный въезд Ромула в Рим» — выдающаяся работа. Но все же: флотский лейтенант... И кто у нас в совете моложе пятидесяти лет?

Президент благоволил к Толстому, ставя его высоко не только за талант, но и за то, что Федор Петрович был человеком «своего круга» — граф. Титул являлся для Оленина немаловажным аргументом.

Президент пригласил к себе медальера, чтобы посоветоваться о сильно заботивших его делах.

Толстой, впрочем, хорошо знал, что упрямый, настойчивый «диктатор» редко слушал чьи-либо советы, считаясь только с высочайшим повелением и собственным мнением.

Стуча о стол костяшками сухих пальцев, Оленин цедил сквозь зубы:

— Вы, граф, за всех заступаетесь. Вот и сейчас — за безобразника Александрова, исключенного в свое время из академии. Когда-то вы так же заступались и за этого... как его... Полякова. А Поляков ваш оказался истинным негодяем. Мало того что бежал от господ, а чуть не убил их управляющего. Что вы можете возразить?

На лице Федора Петровича отразилась печаль. Что он мог, в самом деле, сказать? История с мажордомом Благово дошла до него, вероятно, сильно преувеличенной, искаженной. К бедняге Полякову он относился как к родному. Трагическая развязка их любви с Машенькой причиняла Толстому душевную боль.

— Теперь, граф, — продолжал Оленин, — вы стоите горой за выдачу пьянице аттестата первой степени, ввиду его якобы исправления за эти годы. Вы хлопчете о том, чтобы ему задали программу на звание академика по батальной живописи.

Толстой торопливо подтвердил:

— Вот именно, именно. Таланты необходимо поощрять, а Александров...

— Пьяница и буян, повторяю. А главное — бастард¹, — твердил президент.

— Но, уверяю вас, он исправился. О нем самые лестные адресации. Нужно дать ход его дарованию. Александров не может существовать одними частными заказами.

Оленин досадливо передернул плечами:

— Я уже слышал это. Такие же слова и в адресации покровительствующих ему заказчиков, коим он исполнял портреты. Тайный советник граф Рибольвер и сенатор гвардии генерального штаба капитан князь Голицын — оба хлопчут. Александров и сам подавал прошение министру духовных дел и народного просвещения. И министр, как мой прямой начальник, передал мне сие дело на рассмотрение академического совета. Но я не могу удовлетворить просьбы. Кто поручится за то, что, поступив на службу, Александров не вспомнит старые привычки и не опозорит нас?

— Но вы подумайте: пять лет трезвой жизни и упорной работы! И такой талант! Мы все помним, каким он был блестящим баталистом.

¹ Бастард — презрительное название «незаконных», внебрачных детей (франц.).

Оленин отрицательно махнул рукой:

— Не-воз-мож-но! Евангелие нас твердо учит: ежели говоришь «нет», нельзя говорить потом «да», а ежели о чем говоришь «да», нельзя говорить об этом «нет». У совета должно быть постоянство. Решение, под которым подписался совет академии в 1817 году, не может быть отменено в 1822.

Он порывлся в бумагах и протянул Толстому листок, написанный славянским шрифтом красной краской, с ярко разрисованными разноцветными заглавными буквами, подражание древним летописям.

— Не угодно ли полюбоваться, какой аттестат в свое время выдали этому «батальному живописцу» его товарищи. Наверное, — Оленин презрительно улыбнулся, — он угощал их тогда порядочными «баталиями» в пьяном виде. Сторож принес мне этот найденный им замечательный документ. Правда, аттестат шуточный, но все-таки характерный. Вот, читайте, читайте вслух.

Толстой начал читать:

— «Дан сей аттестат воспитаннику Академии трех знатнейших искусств Александрову Павлу Алексеевичу в том, что оный прошел многотрудную и тернистую стезю...» Что за чепуха? — остановился Федор Петрович и поднял взгляд от бумаги.

Оленин закивал узкой головой, и в этом движении стал особенно походить на дятла, долбящего клювом облюбванное дерево.

— Читайте, читайте дальше!

— «...совратился с пути истины и благонравия и предался гортанобе-сию, чревонеистовству, кичению, аки лютый и необузданный вепрь...»

Толстой опять остановился.

— Дальше прикажете читать этот вздор? Меня гораздо более интересуют здесь талантливые орнаменты виньеток, доказывающие, как изрядно наши воспитанники усваивают византийскую манеру.

— Ах, милый граф! — нетерпеливо перебил Оленин. — Мне не до украшений! Читайте дальше, и вы узнаете доблести того, за кого так усердно заступаетесь.

Набрав в легкие воздух, Федор Петрович начал читать дальнейшее с нарочитым пафосом:

— «Не видя же его, Павла, оборачивающегося на стезю смиренному-дрия, но тысячекратно ввергающегося в любопытие, праздношатание, стихобесие, женолюбие, козлопение и козлогласование...»

Федор Петрович не выдержал и расхохотался:

— Пошадите, Алексей Николаевич! Этакого «вслеречия» даже моя няня Ефремовна не могла бы слушать, сколь ни любит она древние изречения. Я понимаю, здесь говорится, что обвиняемый любил попеть.

— И попить, — подчеркнул Оленин.

— Совершенно верно. Здесь есть и про это: «Всякое яствие или снедь через меру запивал, аки Левиафан в пучине морской, сопровождая сие гор-танное упражнение курением богопротивного зелия, сиречь злосмрадного злака, иже от нечестивых галлов табаком нарицается».

— Не могу больше, — смеялся Толстой, — и все понял. Александров любил выпить, покушать, покурить и спеть лихую песенку. И никого не ограбил?

— Побойтесь бога, граф! Еще этого не хватало! Если бы такое случилось, он сидел бы в остроге. А пока что следует завершить его дело. Решение принято пять лет назад, оно в силе поныне. И должно остаться в силе впредь. Изменять правительственные решения — значит, способствовать шатанию закона в его основании. Сомнение и отмена постановлений способствуют шатанию умов. Да-с!..

Разговор был окончен.

Вошел старый, с военною выправкой сторож и доложил:

— К вашему высокопревосходительству бывший воспитанник Павел Алексеев Александров.

— Впусти, Цыцур! — строго бросил Оленин.

Лицо его разом приняло каменное выражение, углы губ брезгливо опустились, а глаза медленно поднялись вверх входившего.

Толстой вздохнул и стал смотреть в окно.

— Видели фигуру? — кивнул Оленин в сторону не успевшего еще закрыть за собой дверь Александрова. — Полное неумение держать себя. Да он осрамит одним своим поношенным сюртуком все российское художество! Благодарю создателя за дарованную мне твердость, столь необходимую в исполнении моего долга перед государем. Я не поддаюсь слабости снисхождения и уговоров.

Он взглянул на Толстого, подошедшего к приколотому к стене рисунку, восхитившему когда-то всю академию. Это была давняя ученическая работа еще четырнадцатилетнего Карла Брюллова, оставленная в кабинете президента как пример достижений в системе преподавания. Смелый, безукоризненный штрих превращал академического натурщика в легендарного, символического «Гения». Никому не было дела до того, что ученик, стиснув зубы, рисовал и перерисовывал и снова бесчисленное число раз скрупулезно отделявал свою работу.

— Вы любуетесь брюлловским «Гением»? — спросил Оленин. — Да, этот юноша вряд ли подведет монаршее благоволение и нас, его воспитателей... И внешность завидная, и талант. Но дерзок, дерзок! Я жду его тоже сегодня. Вопрос идет о том, чтобы, уезжая за границу, окончившие не теряли академического надзора и вне пределов государства. Таково желание государя и повеление министра...

Толстой плохо слушал.

Вот еще работа Карла — в золотой уже раме: прекрасный юноша склонился над ручьем. Это Агафопод, добытый когда-то учеником Поляковым в торговых банях. Юноша Нарцисс увидел в ручье свое изображение и влюбился в него. Не он ли это сам — девятнадцатилетний автор?.. И Шебуев, строгий академист, создатель анатомического атласа, и не менее требовательный Егоров, и скульптор Мартос, и руководитель Брюллова профес-

сор Иванов — все они наперебой восхищались и гордились автором «Нарцисса», утверждая, что картина — событие в жизни академии.

Толстой знал, что фоном ей послужил Строгановский сад на Черной речке. Подолгу сидя на скамье, молодой художник, вероятно, наблюдал пронизанную солнцем зелень, ловил солнечные лучи, купающиеся в пруду, и переносился мыслями в напоенную светом Грецию. Федор Петрович сам был глубоким почитателем греческого искусства. Он понимал мечты юноши, так удачно использовавшего даже лист, упавший с дерева и уносимый течением. Пятно подчеркивало зеркальность воды. А этот чудесный тепло-золотистый тон всей картины!..

— Возрожденная Эллада! — вырвалось у Толстого восторженно.

— И тот, кто написал ее, — подхватил Оленин, — должен теперь и в Италии показать свои успехи, чтобы академия, а за нею вся Россия гордились им. Он должен оправдать заботы своих руководителей и затраты правительства, как верноподданный своего монарха и сын своего отечества. Но Брюллов не по возрасту самоуверен и не желает больше покоряться. Некая фантазия, под именем «свободы творчества», начинает кружить голову и этому взысканному академией юноше. Ужасное время! Все жаждут какой-то несбыточной свободы, не сообразуясь со здравым смыслом. А здравый смысл гласит...

Толстой заставил себя слушать. Оленин уже снова вернулся к Брюллову:

— От него мы ждем многого. Получив первую награду за программу «Явление трех ангелов Аврааму», юноша не должен забывать, что его посылают в Италию не зря. Мы ждем от него достойных копий с Рафаэля. Когда время сотрет эти сокровища с итальянских стен, художники всего мира станут приезжать к нам учиться по ним. Вот чего мы ждем от дерзкого юноши Брюллова. А ваш Александров... извините...

Толстой сделал последнюю попытку вступить:

— Но как можно, ваше высокопревосходительство, оттолкнуть тоже немалое дарование? Взять и бросить его, как лишний сор. Мне кажется...

— Ну полноте, полноте, граф! — По лицу Оленина скользнула снисходительная улыбка. — Вы обладаете чрезмерной гуманерией. В академии ходят даже слухи... Простите, вероятно, дружеский анекдот, и только. Будто вы, пожалев какую-то старуху прачку, помогли ей везти на Благовещенском мосту санки с бельем. Я этому, само собой, не поверил.

Толстой удивленно улыбнулся:

— Почему же не поверили? Старушка действительно выбилась из сил, а я здоров. И у меня оставалось еще довольно времени перед аудиенцией во дворце.

Наступило короткое молчание. Пожав плечами, Оленин перевел разговор:

— Ну, у меня дела государственного значения, граф, а не частные, как в случае с вашей немощной старушкой. Я призван шлифовать алмазы, а не вытаскивать из болота сомнительные ценности. И готов лелеять Брюллова единственно для прославления моего отечества, как истый патриот.

Станут говорить о нем за границу — государю будет сие лестно. А что лестно государю, тому считаю за счастье споспешествовать. Только в строгом порядке и законности — сила государства. Ежели на что дана резолюция — другой быть не может.

Толстой тихо спросил:

— А... ошибки?

Оленин холодно и веско ответил:

— Государственная машина ошибаться не может. А я ее винт. И винт этот не так уж плохо работает, согласитесь. Если бы за лишнюю выпитую чашку чая приговаривали к смертной казни, а я был бы судьей, то вовсе не стал бы рассуждать, справедлива ли такая кара. А подписал бы с легким сердцем: по закону — виновен.

Голос его звучал уверенно.

— Закон — все, Федор Петрович. Что написано пером, не вырубишь топором. И не нам осуждать распоряжения правительства. Лучше подчиниться и работать. И я работаю. Вот здесь, посмотрите, — он указал на грудку листов на столе, — вот отчеты по живописи, зодчеству и скульптуре вверенного мне монаршей волей заведения.

Толстой невольно подумал:

«Действительно, кто не знает теперь про Рюсткамеру Российской академии, про ее мастерские, бесчисленные перестройки и ремонты, про античную галерею, про очистку и приведение в порядок так называемого циркуля вокруг академического круглого двора, серии музейных залов? Как великолепно все здание украшено теперь скульптурой и живописью! И разве не восхищаются иностранцы Литейным двором?»

Оленин точно дополнял мысли Толстого:

— В своих заботах об академии я превыше всего ставлю именно заботу о воспитанниках. Они прекрасно едят. По будням — три блюда за обедом, по праздникам — четыре, когда прежде они голодали... У них теперь по три перемены одежды: будничная, воскресная и парадная, и столько же полушапог, а белья — в изобилии, тогда как раньше они крали — о, позор! — друг у друга простыни... И должен вас заверить, граф, что, когда моя рука писала сии распоряжения, голова неусыпно забегала в своих думах дальше и дальше. Она выискивала способ достигнуть высшего с наименьшими затратами, чтобы, слава бог, не обременить чрезмерно государственного бюджета.

И Оленин начал самозабвенно перечитывать страницу за страницей бесконечных цифровых отчетов.

Толстой снова перестал слушать. Ему пришли на память высказывания друзей на их интимных собраниях:

«Бумажная Россия, чиновничья Россия, отписка, переписка, исходящие и входящие, чины, титулы...»

Художник встал, чтобы проститься. Оленин остановил его властным жестом.

— Еще давние успехи академии, как вам хорошо известно, граф, стали гласными в Европе. И чужеземные мастера, как Лампи, Торелли, Фаль-

коне, Дойень, Кваренги, Ламот — да мало ли их, — за честь себе поставляли быть ее членами. А когда в 1811 году, после кончины президента графа Строганова, академия начала приходить в видимый упадок и управление ею совершенно ослабело, я дал священнойшую клятву воскресить уходящую славу и твердой рукой повел ее по блистательному пути для прославления имени моего монарха.

У Толстого заболела голова от долбящего голоса, и он поклонился.

— Надеюсь, граф, я окончательно разубедил вас в полезности излишней снисходительности и гуманерии в делах государственной важности?

Рискуя быть невежливым, Толстой не ответил.

5

ТОРНАЯ ДОРОГА

Перед тем как покинуть любимый город, Сергей не удержался и с опаской пошел взглянуть на академию в последний раз.

Он шел вдоль Невы, украдкой, как преступник, поглядывая на противоположную сторону. Как неузнаваемо стало дорогое сердцу здание! Деревянный тротуар громко поскрипывал под ногами прохожих, а в бытность Сергея в осенние непогожие дни там стояла невылазная грязь.

Он увидел двоих молодых людей, столкнувшихся в дверях академии.

— Ты, Федя, зачем?

— Да надо кое с кем проститься и забрать оставшиеся вещи. Ведь я тоже уезжаю, ты же знаешь.

— Вот и я приходил проститься... по приказу его высокопревосходительства! — Последнее слово прозвучало подчеркнуто насмешливо.

Знакомые голоса: Карл Брюллов и гравер Федор Иордан. Неужели эти щеголеватые одетые художники — питомцы прежней академии? Обновились, как и само здание. И как недосыгаемо далеки от заброшенных в рыбачий поселок пасынков того же искусства!

Сергею захотелось узнать последние академические новости. Оба художника, видимо, уезжали совершенствоваться в Италию. Счастливы! Он быстро прошел вперед, пересек мостовую и пробрался за решетку Румянцевского сквера. Отсюда, возможно, и удастся услышать их разговор.

— Ну и как? — спрашивал Иордан.

Карл смеялся:

— Их высокопревосходительство — в страшнейшем гнев. «Они» возмущены: как посмели братья Брюлловы — ведь мы с Александром, по высочайшему повелению, теперь официально значимся Брюлловыми, — как посмели эти взысканные монаршей милостью братья отказаться от пенсионерской поездки, если в соглядатаи к ним приставят инспектора Ермолаева.

— Еще бы! Кто из учеников не знает этого шпиона, доносчика! Сергей не верил ушам. Отказаться от поездки в Италию? Это же чистое безумие! На что он надеется, этот баловень судьбы?

Как бы в ответ Брюллов расхохотался еще заразительнее:

— Да! Не приходи на помощь божественная Фортуна, наша с братом принципиальность подверглась бы жестокому испытанию. А теперь...

— Знаю. Вас отправляет не академия, а недавно возникшее частное Общество поощрения художеств. Действительно, удача!

Брюллов хлопнул приятеля по плечу:

— Запомни мой завет, Федя: верь в удачу твердо, работай, как проклятый, и ты завоюешь мир!

Все так же небольшого роста, в непривычном штатском костюме, Иордан смущенно поехал:

— Для меня, Карл, это звучит слишком громко. Нас всех растила бедная, скромная вдова. А тебя воспитал отец — решительный, смелый, говорят, человек, и такой учитель, как Андрей Иванович Иванов... Моя муттерхен больше плакала, молилась да подсчитывала, хватит ли ей грошей прокормить оставшуюся дома ораву детей. Я, вероятно, так и останусь...

— Тихим Федей?.. Ну нет! Я хочу теперь пошире распахнуть крылья. Да и каждому советую. Жизнь надо творить, как картину!

«Жизнь надо творить, как картину!» — повторил мысленно Сергей. — Всегда ли это возможно? А если руки человека связаны беспощадным законом? Если не только руки, но даже мозг и душа не принадлежат тебе? Если ты — не человек, по закону, а чья-то собственность?..»

Звонкий голос Брюллова оборвал мысль:

— Кстати, я встретил беднягу Александрова. Оленин к нему неумолим. Что бы такое придумать, чтобы помочь ему, ума не приложу. А жаль его. Талант!

— Да еще какой! — подтвердил Иордан.

И они начали прощаться.

— Ну, передай привет своим, Карл. Тебе можно действительно позавидовать. Вся семья — таланты. Отец — мастер декоративной резьбы, брат — архитектор...

Да, ему можно было позавидовать. Изящным движением сняв с рыжеватых волнистых волос пуховую шляпу, он помахал ею в воздухе. Стройную энергичную фигуру его облекал длинный сюртук мягкого синего тона, с широким отложным воротником и пышным галстуком; песочного цвета панталоны были заправлены в сапожки и по моде обтягивали ноги; спереди на сапожках красовалось по кисточке... Нарядный франт! Сама «божественная Фортуна» невидимо следовала за ним.

«А труд? — одернул себя Поляков. — А его упорный, самозабвенный труд, которым Карл славился еще с детских лет? «Жизнь надо творить, как картину!»

Сергей остался один. Иордан скрылся за заветной дверью академии, а Брюллов легкой, пляшущей походкой прошел далеко вперед.

...Закоулками Васильевского острова Сергей направился в сторону Выборгской стороны.

Паспорт теперь у него был, но он боялся снова встретить кого-нибудь, кто знает его в лицо. От этой мысли он холодел, походка становилась неестественно торопливой, а во взгляде читалась подозрительная настороженность.

Куда идти? Может быть, временно устроиться где-нибудь под Питером, на окраине Лесного или на Черной речке, где поменьше народу? А может, в Парголове или Юкках, в местах, где летом тоже селились художники? Пристроиться в какой-нибудь семье ремесленника постояльцем. А там будет виднее, куда применить силы воскресшему рыбаку Василию Кренделькову. Эх, постараться бы попасть юнгой на торговое судно и покинуть родину навсегда...

Ни с кем так и не сговорившись, он забрел на Каменный остров.

Привычная дорога. Здесь, у Строганова моста, соединявшего Выборгскую сторону с Каменным островом, за оградой — знакомый огромный сад. Граф Строганов открыл его для летнего гулянья. Сюда любил ходить и ученики академии. Сейчас, в эту пору года, здесь пустынно и тихо.

Из-за ограды виднелись купы деревьев. Некоторые уже оголились. Но высокие клены стояли еще в осеннем уборе всех оттенков: от зеленого до золотого и от бледно-розового до багряно-красного, будто пламенившие в пышном цветении.

Художник вошел в опустевший сад. Кустарник задел его по лицу, оставив влажный след. Ветер шевелил поредевшие ветви, и кругом все шелестело, точно вздыхало и невнятно бормотало о чем-то тоскливом, обреченном... Под ногами шуршали опавшие листья. Пахло винным запахом увядшей зелени. Сергей слышал однообразный стук граблей: садовники чистили где-то аллеи, слышал скрип тележки, свозившей листву в кучи, вдыхал горьковатый запах горящего мусора и смотрел, как вспыхивали вдали ярким огнем сучья.

Написать бы вот эти огни, этот дым, а возле — темные силуэты людей с граблями и вилами. Нет, написать шабаш ведьм: пламя, клубы дыма, движение. Молодая ведьма в вихре дымового столба, перемежающегося с искрами, летит к небу спиралью, распустив по ветру огненные змеи волос, и хохочет сатанинским смехом. Не это ли жизнь: колдовская ведьма, с хохотом мчащая людей в водовороте бесправия и насилия...

Чтобы успокоиться, Сергей закрыл глаза. И, как всегда, поплыли одна за другой картины. Мягкими волнами окутали ужас сатанинского полета, миром и тишиной овеяли душу.

Видение или минутный сон?.. Кони жуют методично и медленно, с апетитом перемалывая душистое сено. Где-то далеко — тонкое ржание и крик петуха. Роса. Блестящая капля утренней звезды и широкий размах Блэк-петы Медведицы. Ноги тонут в травянистых кочках. Грудь наполняется свежим дыханием ночи. Слышатся бубенчики и блеяние овец. В туманном сумраке светлыми пятнами маячат колымаги цыганского табора. Вот они

у костра, эти бронзовые люди, сверкают белыми зубами и темными агатами глаз. Гортанный говор и гортанное, за душу хватающее пение:

Денег нет у меня-а,
Один кре-ест на груди-и-и...

Как это далеко...

Сергей шел по аллее. Он знал здесь каждый уголок. Вот там холмик с воздушной беседкой на белых колоннах, а за ним горбатый мостик. Дальше дующий в раковину «Купидон» — «маленький большой человек», как говорили художники, когда неопытный скульптор неумело изображал ребенка, похожего на взрослого. Фонтан закрыт. Вода не течет и молчит, как и все в этом засыпающем на зиму саду.

Сергей направился к достопримечательности владений Строганова — белой мраморной гробнице, перевезенной из Греции еще при Петре I. Он хотел сесть там на скамейку, но неожиданно натолкнулся на человека в ливрее.

— Смею спросить вас, сударь, — услышал он, — как находите вы прохладу нынешнего дня? Сентябрь, осмелюсь признаться, любимый мой месяц. Природа отдыхает от зноя и щедро дарит нас плодами своими. С другой стороны, хоть и замолкли небесные певуны, но чуткое ухо ловит иные мелодии, порой столь тонкие, что не хватит нот в октаве клавесина. Для музыкального уха и в шелесте листьев — гармония несказанная...

Сергей внимательно посмотрел на бритое, немного обрюзгшее лицо, с резко обозначенными мешками у глаз и глубокими морщинами на лбу.

— Не побрезгайте, отдохните рядом. Честь имею представиться: крепостной человек Дмитрия Львовича Нарышкина.

Сергей знал, что Нарышкин, вельможа, богат, близкий ко двору, славился тем, что у него был великолепный оркестр роговой музыки. И что Александр I редкий день не навещал его или не засылал к нему гонцов узнать о здоровье прекрасной дочери. Девушка, как Машенька, таяла от чаточки, и, по слухам, настоящим отцом ее был сам царь.

— Я, изволите ли видеть, музыкант, — продолжал человек в ливрее, — нарышкинский «фис». Без меня невозможно составить оркестра.

— Очень рад познакомиться. Но что такое «фис»?

— Сейчас вам объясню, ежели позволите. Дозвольте только полюбопытствовать, с кем имею честь беседовать?

Сергей заколебался:

— Я художник... Василий Михайлович Крендельков... Проездом.

— На место едете и наши палестины желаете, значит, осмотреть. Много, смею уверить, есть у нас достойное внимания. Роскошь осталась, как наследие матушки-царицы Екатерины Алексеевны. Здесь вот — все вельможеские дворцы. Извольте обратить взор: на том берегу, наспротив, возвышается дача моего барина, обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина, а рядом — графа Лаваль. Всё сады, сады, каштаны и липы. Летом дух необычайный... А нас, людей крепостного звания, не перечесать: и офицантов, и егерей, и арапов. Арапы — в раззолоченных ливреях служат за

столом, аки перед особой турецкого султана, и играет наша знаменитая роговая музыка. Сорок человек, и каждому — своя нота.

— Как — нота? — удивился Сергей.

— А так. Пройдемте в харчевню, я там все расскажу-с, ежели не наскучит слушать. Харчевня тут, неподалеку. А то садовники здесь убирать начнут, мы помешаем. А кроме того, знобко, — душа просит согреться...

Сергей хотел отказаться, но, почувствовав тоже легкий озноб, согласился.

Чего-чего, а харчевен на окраинах сколько хочешь! На Выборгской стороне, у самого моста, — кабачок с синей надписью и дверями «на два раствора». По бокам — вывески: на одной изображен самовар и бутылки, на другой — булки, баранки и колбаса.

Сергей нахмурился: может быть, близко то время, когда и он будет писать такие вывески, чтобы не умереть с голоду.

Они уселись за липкий, плохо вытертый стол. Нарышкинский музыкант, как человек, видно, бывалый тут, позвал пологового по имени и спросил «пару чая со штофом ерофеича» — своего излюбленного сорта водки.

— Будьте здоровы! Чтоб не по последней, Василий Михайлович!..

— Вы обещали рассказать про вашу музыку, — напомнил Сергей.

— Ах, да... Но сие не так просто, сударь, как кажется на первый взгляд. У нас сорок музыкантов и сорок инструментов — труб роговых разных сортов и разных объемов. Каждая из труб испускает только одну ноту по трехоктавной лестнице. И выходит весьма любопытно, даже очень примечательно-превосходно выходит. Иностранцы знатные много одобряют. И еще к тому же диковинно. Так и называют иной раз: «диковинный оркестр». Скушайте еще рюмочку, не побрезгайте угощеньем крепостного человека.

Он чокнулся с Сергеем и продолжал:

— У-ди-ви-тельная музыка! И кто только ее придумал? Получается богатство мелодии, с полутонами, как на фортепианных клавишах, допускающих всякие модуляции во всех тонах. Как бы... воздушная гармония. Передать словами сие невозможно! А только порой и горько станет... вот как горько!..

Он ударил себя в грудь и неожиданно всхлипнул:

— Я есмь Максим Петрович Бородулин, а имя мое забыли. И сам я часто его забываю... Потому иду под музыкальную кличку «фис». Только что не «брысь», как кричат на кошку.

Сергей заинтересовался рассказом. Бородулин быстро хмелел. На носу его повисла слеза.

— «Фис», сударь, а не Бородулин. И горько мне вот отчего. Мальчонком я был у барина в подпасах и, проходя мимо сада, прислушивался, как на башне приделанные струны сами собою играли. В слуховое окно ветер, а по-господски «зефир», пробегал, разные мелодии, как бы шая, наигры-

вал таково-то сладко и нежно, — человеку не выдумать. И захотелось мне на моем рожке так же сыграть. Да ничего не выходило. Я уж и дудочки разные делал и рожки — нет и нет! А скрипку там или арфу где подпаску взять? Не скучно вам, сударь, слушать? Может, в музыке вы не видите того небесного дара, что я вижу?

— Нет, я музыку очень люблю. — отозвался Сергей, чертя карандашом на столе прсфиль Бородулина.

— Вы вот, я замечаю, изрядный живописец, — всмотрелся тот в рисунок. — Меня изобразили, как две капли воды. Жаль, что не могу унести с собой стола: моей старухе было бы утешение, что такого сморчка ученые люди рисуют.

— Расскажите, пожалуйста, дальше вашу историю. Чем вы обижены?

— А вот как было дело, сударь... Одним летним вечером старый еще барин с барыней и дочкой вышли в сад поваляжиться — закатом полюбоваться. Притом же пахло липами, что медом, и от скошенного сена шел такой дух, что голову кружило. А я, подпасок, гони домой стадо и норови заиграть на своем рожке от всего сердца. Барышня услышала — чувствительная душа, — даже заплакала. Говорит папеньке с маменькой: «Лучше сей дудочки нет ничего на свете, и я готова ее всю жизнь слушать». Здоровье у барышни было деликатное, нервы самые нежные. Ну, конечно, родители все ее желания тотчас исполняли. И меня, натурально, приказали тут же вымыть, приодеть и в дом привести. Стали учить музыке и в комнаты к барышне брали на рожке играть. Учился я хорошо. Итальянец-учитель, бывало, не нахвалится. На нескольких инструментах играл. Скрипку досконально изучил. Скрипки всех старых знаменитых мастеров в руках держал; у барина была коллекция. Канифоли всякой сорт знал, какой лучше смычок натирать. Даже чинил скрипки высоких мастеров. На настоящем Страдивариусе игрывал. А также Гварнери, скрипача итальянского... И пуговку, и подгрифник — все, бывало, налажу. Бочки клеил у разбитых скрипок; нижнюю и верхнюю деку¹ по весу на руке определял. Колки на грифе подкручу так, никогда не сфальшивит.

— Ну и что же? — торопил Сергей, вспоминая судьбу Егорыча. — Заставили вас быть лакеем, камердинером, конюхом, столяром?..

— Нет, зачем? Музыкантом так я и остался. Только в ту пору умер старый «фис». И меня в «фиса» определили. С тех пор только одну нотку вот и тяну. Извольте выслушать!

Бородулин вытащил из кармана камертон, стукнул им о стол и, выпятив губы, тонким голосом протянул одну ноту. Потом горько рассмеялся:

— Вот и вся моя история!

Горло Сергея сдавила спазма. Куда уйти от тоски, от бесправия, что губит искру таланта?

Бородулин продолжал:

— Попал это я раз с товарищем в полицию, — подрались пьяненькие... Вином-то я иной раз обиду свою заливаю, сударь... В полиции нас и спра-

¹ Дёка — часть корпуса струнных музыкальных инструментов, необходимая для отражения и усиления звука.

шивают: кто такие? А мы имя свое, фамилию не говорим, а твердим одно: «Я — нарышкинский «у», а я — нарышкинский «фис». Это вместо христианских-то имен, каково, сударь?.. А разве без смысла она, что ли, эта роговая музыка, когда душу и легкие теребит?.. А только нередко чахоткой от нее умирают. Другие музыканты живут, а мы помираем. Вот и тот «фис», что до меня у барина был, тоже от нее помер. И у меня самого изнутри кровь хлещет порой... Да что с вами, сударь?

Сергей сидел, закрыв лицо руками. Потом заговорил порывистым шепотом:

— Я тоже... понимаешь... тоже холоп...

Бородулин недоверчиво покачал головой:

— Какой вы, сударь, холоп? Из холопов, кто половчее, выходят и в люди. Вы вон как рисуете! И одежда на вас барская, и руки барские.

— Я холоп... беглый холоп... — с отчаянием повторил Сергей. — И сейчас не знаю, куда приткнуться, где зимовать, как укрыться, спрятаться, на что жить...

Бородулин внимательно посмотрел на Сергея. Хмель его разом точно исчез. Он задумался немного и начал нерешительно:

— Есть тут одно дельце, сударь. Может, вам и к стати будет. Со скуки наш брат везде шляется в свободный часок. Ну и я когда — в кабаке, а когда — в балагане. Свел я знакомство с самим балаганщиком. Он по разным городам кочует. У него акробаты, фокусники — змей глотают, ножи, огонь и всякую всячину...

— Что вы говорите? Я же ничего такого не умею

— Можно что и другое. Вон, поглядите, и пласун здесь от него... Вы вот как скоро меня нарисовали. Так, может, у балаганщика, под музыку, малевать стали бы минутою? Занятно было бы, и денежки получили бы немалые. Хотите, свожу?

Сергей с отчаянием выкрикнул:

— Ведите хоть к самому черту!

— А может, вам, сударь, и впрямь чертом придется наряжаться, как станет малевать под музыку. В балагане любят всякие образины. Хвост и рога.

— Ну, конечно, хвост и рога! — захохотал Сергей, вспомнив рожу на своей картине. — И язык высунуть? Да? Да?

— Вот именно, все для забавы публики. А позвольте узнать, — Бородулин нагнулся и спросил, озираясь: — а паспорт у вас имеется, хотя бы фальшивый?

— Есть.

— Это хорошо. С паспортом ты сам себе хозяин. А без него и балаганщик, и всяк, кому не лень, может в бараний рог согнуть.

— Дали, дали добрые люди... — шептал Сергей в каком-то беспомоществе. — Есть все же люди, а не звери на свете... Вот и вы... вы...

— Ну ладно, пойдемте. Только прошу вас одно: не думайте, что я могу быть донощиком. Этого никогда себе не позволю. И потому не хочу ничего о вас больше знать: ни каких вы господ, ни все такое...

...В тот же день, поздно вечером, Сергей зашел к Лучанинову. Тот, казалось, не удивился, только внимательно посмотрел на приятеля.

— Иди прямо в мастерскую, — сказал он. — Мишка, правда, спит. Он часто теперь спит, видно, слабеет. Хотя врачи говорят: такой может прожить десятки лет. А разум стал совсем детский. Боюсь, ты скажешь что-нибудь лишнее, а он услышит, проснувшись, и проболтается. Но ночевать у меня можно. Мишка не ходит в мастерскую, злится на мою «мазню». И дверь я к себе из передней пробил другую.

В мастерской было тепло. В камине еще трещали поленья.

— Для Мишки затопил. Все ежится, зябнет, а топить у себя не позволяет. А отсюда к нему идет теплый воздух. Ты с чемоданом? Может, подольше останешься жить? Или едешь куда?

— Еду, — коротко ответил Сергей.

— Куда?

Сергей замаялся. Лучанинов не стал расспрашивать.

— Хорошо, что пришел проститься. Едешь и не знаешь, поди, когда вернешься. Денег тебе, может, надо? У меня найдутся. По приезду, как устроишься, напиши непременно. А то пропадают люди: уедут и провалятся...

Помолчали.

— Денег мне не надо, спасибо, — с трудом выжал из себя наконец Поляков. — А ночевать, если можно, останусь.

— Вот и хорошо. Ты чего тоже дрожишь? На улице разве холодно? Сентябрь только...

Сергей молчал. Хмель у него давно прошел, но Лучанинов слышал запаха водочного перегара.

— Пить стал, Сережа? — спросил он мягко.

— Ну и что же? Многие пьют. Да я редко...

Лучанинов снова пристально посмотрел на него.

Сергей откашлялся и, подойдя к другу вплотную, отчетливо проговорил:

— Я нанялся в балаган рисовать под музыку, в костюме черта, и должен сделать маску с рогами и высунутым языком. На днях уеду, куда повезет меня хозяин. А теперь дай мне спать, я устал.

6

ЕЩЕ ПОПЫТКА

Прошло больше трех лет. Была середина декабря. По московскому тракту к Петербургу медленно двигался обоз с продовольствием — ежегодная дань деревень своим помещикам к рождеству. Из-под рогож торчали окостенелые ноги освежёванных баранов и телят, болтались головы битой птицы, громоздились мешки, и тусклыми глазами смотрели поверх них замороженные рыбы рядом с кадочками масла, пластами сала и белыми, молочными поросятами.

Когда лошади шли в гору, возницы соскакивали с саней и, шагая подле, вязли валенками в заснеженной дороге с темневшими колеями. Обсуждали, где «сподручнее» пристать.

— К вечеру приедем, на постоялом придется заночевать. Господам не любо, как в ночь приедешь. У нас господа строгие. Графский нрав, известно, сурезный.

— А наш хоть и из купцов, а пожалуй, и в ухо двинет, как середь ночи во двор вкатишься. У них и собаки больно злые, верно, с цепи спущены. И своего-то, пожалуй, разорвут. Тебе, мил-человек, куда?

— Да мне все равно: на постоялый, так на постоялый.

Человек в дубленом полушубке, примостившийся на одном из возов, говорил усталым, безразличным голосом. По его согнутой спине, темной борде, заиндевшей серебристым налетом, трудно было определить возраст. Вещей у него было немного: чемодан да обвязанный веревками пакет. Человек был равнодушен и спокоен: он понимал, что в нем трудно узнать бывшего ученика Академии художеств Сергея Полякова.

Смеркалось. Впереди с шумом поднялась стая галок и полетела в сторону. Показались маленькие, ушедшие в сугробы, домики петербургской окраины.

— Ну вот, аккурат этот самый постоялый. Здесь — чего только душенька твоя пожелает! И хозяин и хозяйка преуважительные. Середь ночи печку истопят, и накормят, и напоят, и спать уложат по-христиански.

Уверения оправдались. Как только залаяла собака, послышался окрик, и старческий голос приветливо спросил:

— Заезжие люди, никак? Милости просим, кормильцы. Не побрезгайте нашим домком. Цыц, Полкан! Встречай, хозяйюшка, принимай гостей. Лошадушек-то во двор бы поставить.

На крыльце висел веник — обычный знак заезжей харчевни. Двор был просторный: изба — тоже большая, с теплыми полатями. Все еще заманчиво пахло щами и горячим хлебом. За печкой уютно трещал сверчок, и по стенам, в свете лучины, домовито шмыгали тараканы.

Возчики слезали с возов, осматривали, крепко ли привязаны деревенские посылки, проводили, чмокая, лошадей и устанавливали их на крытом дворе.

Случайный седок, попросившийся к ним на воз около Москвы, вошел в сени вместе с другими. Отряхнув с себя снег и похлопав рукавицами, он затопал обледеневшими валенками. Хозяин принял его за купеческого приказчика.

— Пожалуй в избу, в красный угол, почтенный. Не хочешь ли щей горячих со сметками? Ведь ныне рождественский пост, не скоромимся.

— Спасибо, налей хоть щей. Да нет ли у тебя...

Старик лукаво подмигнул:

— Согреть душеньку с дорожки, с устатка? Как не быть! Тем и живем. Жена! Пелагея! Принеси-ка графинчик.

Сергей выпил и закусил, потом достал из чемодана подовый пирог с

вязигой и угостил хозяев. Старик выпил вместе с проезжим и стал на него поглядывать с явной симпатией.

Когда жена, взяв чадающий фонарь, ушла, а за нею отправились на двор, к лошадям, и трое возчиков, он спросил:

— Ты, почтенный, сам-то из Москвы будешь?

— Угу.

— На Москве-то у вас все ли тихо?

— Угу.

Проезжий, видно, был не из разговорчивых.

— А... а про бунты у вас не толкуют?..

— Не слышал.

Сергей понял, что хозяин собирается у него что-то выпытать, но не слишком еще доверяет.

— Да и то сказать, — начал снова старик, — чего людям надоть? Трудолюбием всяк себя прокормит... А тут ходят всякие, мутят, а все, видать, без толку. Потому закон забывают: власти предержащей каждый покоряйся.

Сергей устало отмахнулся:

— Не каждому удача!

Старик придвинулся ближе.

— Ее за хвост надо, удачу-то! А то зря только мутят людей. Я по добром упреждаю. Едешь ты в наш вертеп — столицу, где всякого народа насыпано, что песку. Одним словом, Санкт-Петербурх, и все тут! Будь, говорю, осторожнее и не со всяким востречным путайся. Вижу, ты человек больно хороший, обходительный...

Он покосился на вещи проезжего. Чемодан барский аль купеческий, не мужицкая укладка, хоть гость и в полушубке.

— Да чего мне опасаться-то?

Старик шепнул Сергею в самое ухо:

— Ведь государь-то... Александр Павлович помер...

— Ну кто ж того не знает?

— А ты рассуди. Ныне у нас уже тринадцатое декабря. Государь помер еще двадцать седьмого ноября. Одни спрашивают: где Константин, брат евонный? Пора бы ему присягать, Константину. А он сидит себе будто в Польше наместником тамошним. Другие болтают, что присягать будут вовсе не ему, а младшему брату — Николаю. Смекаешь?

— Да чего смекать?

— Вот простота! — удивился хозяин и пригнулся к проезжему еще ниже. — Что оно теперь выходит? Два государя: один — Константин, другой — Николай... Иные толкуют даже, будто великий-то князь Константин Павлович, государя покойного природный наследник, в какое ни на есть платье переоделся и по дорогам бродит, везде все слушает, расспрашивает: хочет знать, каково желание народа. Его ли принять аль брата Николая? Вот увидели бы, скажем, тебя и подумали бы, право-слово, что ты и есть он самый Константин. Переоделся нарочно в мужичий тулуп и промеж народа бродишь. Вот ей-богу!

Сергей засмеялся:

— Вот на! Да лицо Константиново где у меня?

Хозяин с оглядкой вынул из-за божницы на днях, видимо, отпечатанный портрет — изображение некрасивого, курносого человека в треугольной шляпе — с подписью: «Император Константин Павлович», и показал проезжему.

— Похож на меня? — спросил насмешливо Сергей.

— Кажись, не-ет, — подтвердил хозяин. — Да вот толкуют еще: будто Константин холопам волю обещал, а солдатам — облегчение...

Он вдруг подозрительно оглядел собеседника:

— А кто ты есть такой, на самом деле, почтенный? Я ведь говорю не свое... а что только краем уха слышал. Дорога проезжая, разный люд бывает...

Сергей пожал плечами: снова эти несбыточные слухи, о которых говорил когда-то Лучанинов.

— А мне что? Я слышать не слышал и видеть не видел.

Это было сказано так равнодушно-спокойно, что хозяин уверился окончательно. А ему так хотелось вылить из себя все, как из переполненного до краев ушата.

— Проезжая дорога, известно!.. — начал он снова. — Она рассказами кого хочешь накормит. Вот и еще: дней с пяток, а то и с неделю тому, сказывали, проходили по Питеру солдатики... А офицеры, — он опасливо посмотрел на дверь, — а офицеры будто и говорят им: «Скоро, братцы, воля. И вы крепко за нее, за волю, стойте. Солдатам будто вместо двадцати пяти лет служить всего пятнадцать. А крестьянам — слобода полная».

Он придвинулся вплотную к Сергею:

— Ведь, мил-человек, я к этому тож причастен. Скажем, я постояльц двор держу и оброк своему барину плачу громаднейший... А выйдет воля — сам себе голова! И по деревням, говорят, из-за этого самого бунты. То тут, то там. Слыхал?

— Слыхал. Пустое все!..

Звякнула щеколда двери, и старик хозяин разом перевел разговор:

— Ну, коли хочешь, полезай на полати. А мы с женой — на печке. А не хочешь, на лавке постелем. Для хорошего человека и перины не жалко.

Сергей лежал на хозяйской перине, слушал песню сверчка, шуршание тараканов, вой ветра за окном и храп спящих кругом людей. Его одолевала думы.

Предстояло устраиваться по-новому. Балаганная карьера надоела до смерти, да и становилась опасной. Под Саратов, куда занесло его хозяина, приехали в одно из своих дальних имений Благово. Их челядь начала приходить в балаган. Выходя раз из боковых дверей, он чуть не столкнулся лицом к лицу с бывшим поваренком. У поваренка не было денег, и он повадился смотреть на представление в шелку. Поваренок мог узнать Сергея, встретив без грима и шутовского наряда. Да и другой кто из слуг мог его выследить.

Сергей решил податься на север, в давно знакомые места.

Теперь он лежал и думал. Где-то смутно маячила память о той далекой блаженной жизни в творчестве. Чувство влюбленности в работу, когда бываешь обо всем, кроме желания схватить образ и как можно глубже, как можно шире развернуть общий замысел. Когда не спишь по ночам от нахлынувших размышлений и когда не хватает часов у дня. Тогда не страшен ни голод, ни несчастье, ни одиночество, ни злоба людская. Тогда делаешься свободен духом, несмотря ни на какие пути. Потому что нет силы на земле, чтобы сковать мозг. Мозг, рождающий идею и связанный с нею образ.

Как давно он этого не испытывал! Как давно ведет жалкое существование, малюя изо дня в день скверные пейзажи и портреты зрителей «в три минуты», под звуки пошлой шарманки. Портреты отдавались заказавшему. Хозяин балагана брал деньги за них себе и отдавал «черту» известный процент. Потом деньги обычно пропивались в кабаке. Сергей стал много пить и часто бывал пьян. От водки рука не делалась тверже и мысль не становилась глубже.

За свой номер «черта-живописца» он получал больше, чем рыжий клоун «у ковра». Это вызвало зависть. Однажды хозяин придумал новый трюк. Сергей должен был рисовать «по памяти», высоко под парусиновым потолком балагана и спускать портреты в публику на хвосте. Обозленный неудачами клоун заранее подпилил в нескольких местах лестницу. «Черт» сорвался и повредил себе спину. Некоторое время он пролежал, не получая своих процентов. А когда вышел, наконец, на работу, сделался «горбатым чертом», — стройная фигура его сгорбилась. И это сделалось еще занятнее для зрителей.

Когда Сергей проходил теперь по балагану, придерживая одной рукой хвост, а другой — палитру, публика громко хохотала, а мальчишки озорно кричали:

— Черт! Черт! Горбатый черт!..

После встречи с поваренком Сергей взял у хозяина расчет. Балаганщик предлагал сначала прибавку, потом стал грозить неустойкой через суд, но Сергей быстро собрался и почти без денег отправился в далекий путь.

Он решил поехать в Псковскую губернию. Страстно захотелось в Петровское, где восемь лет назад он провел с друзьями академические каникулы. Если жив сам Елагин, его непременно примут. И он сможет работать по-настоящему. От такой надежды у него радостно захватывало дыхание.

По дороге Сергей вздумал заехать в Москву и Петербург. Он знал, что в Москве можно увидеть прсславленного Тропинина: ведь тот получил, наконец, вольную и звание академика! Имя художника гремело уже и за границей. К нему совершали паломничество молодые живописцы.

Сергей тоже пойдет к Тропинину. Поговорит с ним, посоветуется, сделает попытку стать на ноги. Возможно, не все еще потеряно. Большой мастер, сам вышедший из крестьян, поймет его и поможет творчески подняться.

До Москвы Сергей добрался где пешком, где в обозах. Узнав адрес

знаменитости, он отыскал у Каменного моста дом Писарева с подъездом, который вел в квартиру Тропинина. На двери виднелись многочисленные надписи, сделанные мелом: «Был скульптор Витали», «Был Соболевский», «Был живописец Сибилев», «Заходил и не застал. А. С. Добровольский... Были и росчерки титулованных: «князь Гагарин», «князь Оболенский...» Не заставляли и расписывались.

Дребезжащий звонок. Передняя с небольшой вешалкой и даже без зеркала. Низкие потолки. Жена художника, простая женщина, повязанная по-деревенски платком.

Проста и мастерская. Нет ни мягкой мебели, ни дорогих занавесей, ни клавесин, ни мраморного камина со статуэтками и бронзовыми массивными часами, как у модных художников. Единственное украшение — картины самого хозяина, тоже без пышных рам и позолоты. Скрамная комната напомнила Сергею рассказы побывавших за границей профессоров академии о жизни мастеров старой Италии.

Переступив порог, Сергей почувствовал, как у него сильнее забилося сердце. Он понял всю силу этого таланта, познавшего не только мастерство, но победившего самой жизнь, сумевшего с мудрым спокойствием подняться над всеми ударами судьбы крепостного.

Охваченный волнением и сутулясь еще больше, Сергей остановился и посмотрел исподлобья на человека, стоявшего к нему спиной. Ему были видны мягкие седины волос, падавших на ворот простой русской рубашки. Человек обернулся, держа палитру и указывая муштабелем на небольшую картину на мольберте. Начатая еще фраза замерла у него на губах.

— Вот, Василь Андреевич, гостя к тебе привела.

— А я думал, это Арсений, — ответил художник жене. — Сын у меня — Арсений. В ваших годах, пожалуй, будет.

Он обращался к Сергею так, будто видел его не в первый раз.

— Пожалуйста! Всякому рад, кому до меня случится надобность. Снимайка, милый, тулуп да проходи поближе поглядеть сию пробу кисти. Вот учу паренька уму-разуму.

Тропинин показывал на стоявшего поодаль пятнадцатилетнего мальчика в синем халате.

— Вот адресую. Мой ученик — Ваня. Он мне своего архангела Михаила доверил, которого именует копией с Рафаэля Санцио. А я ему толкую: Рафаэль — Рафаэлем, только он кривого лица не писал. Значит, и Ване надо лик выправить.

Мальчик смущенно косился то на Тропинина, то на свою работу.

— Ты не робей, Ванек! Кривое лицо выправить можно. Вот кривую душу выправить труднее. Ваня у меня неожиданно-негаданно появился. Сперва был он учеником гробовщика. А как потянуло к краскам, стал учеником богомаза... Хочу направить его на настоящую дорогу. И, думаю, удастся. Паренек любит живопись сильно. Надобно, чтобы и живопись его полюбила. Увидел я раз у богомаза, как он малюет святого Николу-чудотворца, да все флейсом, флейсом, — ну и взялся за него. Теперь приходит ко мне аккуратно, как только найдется время. На сегодня, Ваня, доволь-

но. Убери архангелу кусочек щеки, как показано, и приходи во вторник. Утро вечера мудренее.

Тропинин ласково улынулся. Юный иконописец стал собираться домой.

Сергей остался с глазу на глаз с художником.

— Садись, — сказал Тропинин. — И я сяду. Старею. Ноги уставать начинают. Откуда прибыл? Кто таков? Зачем пожаловал?

Зоркий взгляд смотрел, казалось, в душу, ища и находя в ней все самое лучшее, светлое, все положительное. Сергей понял это и радостно засмеялся. На него волною нахлынуло восторженное, захватывающее желание рассказать свою жизнь без остатка, все, что таилось на самом дне измученного невзгодами сердца.

Откровенно и просто выложил он Тропинину всю подноготную, не утаив ни одной мысли, ни одного чувства.

Тропинин слушал молча, не перебивая. Ни тени не появилось на его ясном лице, ни искры изумления в глубине внимательных глаз.

— Та-а-а! — сказал он, когда Сергей кончил. — Трудная, торная дорога, верно. Но спотыкаться все же не след. Воюю-то я и сам получил, дружок, только два года назад. А сын Арсений и посейчас крепостной.

Сергей даже вздрогнул от этих спокойных, безжалостных слов.

— Все надеюсь, что выкуплю сына. Пока что плачу за Арсения оброк. Ну-ка покажи, что у тебя с собой из работ. Много не надо. Иной раз и по одному рисунку можно понять.

Сергей вынул из принесенного свертка несколько рисунков. Тропинин обстоятельно рассмотрел каждый из них и сочувственно покачал головой:

— Вижу. Понимаю. Талант! Вот он, светится, горит, искрится в каждом штрихе, в каждом блике. Да-а! Да! А тут вот уж не то, горемычная ты душа, тут пошел туман... Вяло, смазано. Идешь, как по заученному, не оглядываясь. Тут уж и вовсе запутался... И рука не та.

Он поднял на Сергея глаза и почти строго сказал:

— Встряхнись, пока не поздно! Не себя топчешь, а дар, великий дар природы. Ну с паспортом у тебя неладно — это так... Ступай в глушь, где никто паспорта не спросит. Подтянись, накопи сил и... махай во всю мощь и ширь. Куда едешь сейчас-то?

— В Петербург.

Тропинин поморщился.

— В Петербурге спят долго. А в Москве до первого часа можно работать вдоволь... — Он усмехнулся. — Меня, как назначили в академики, звали остаться в Петербурге и заказов надавали кучу. Да я побоялся остаться. Был я с рождения под началом и опять бы пришлось подчиняться: то Оленину, то тому, то другому... Город-то хорош, ничего не скажешь!.. Сокровище бесценное, да люди его изгадили. От тамошних людей я и сбежал.

Он снова перебрал рисунки.

— Сказывал ты, друг, что твои работы бывали вельможами любимы, и профессора тебя хвалили, и медаль ты получил. Значит, было за что. Да и по штриху это видно. А вот свихнулся... Непкрепко стоишь на ногах. И по

лицу вижу, с вином знаешься. Вино надо бросить. С этого и начни. Отрезви душу, укрепи тем глаз и руку. Так!..

Тропинин задумался, потом заговорил тихо и проникновенно:

— Иные портретисты думают: вся сила в том, чтобы портрет был схож, и все тут. А разве в одном этом задача? Нет, верность нужна не только такая. Нужно в душе человека найти то, что скрыто от людей. Выворотить человека, как будто наизнанку. Но гадость какую-нибудь оттуда тащить не стоит, гадость-то у всякого найдется... А показать то, что у человека лучшее, что красит его, возвышает и что согреет других. Бичевать-то порою куда легче, чем дорогу к свету указать. Топтать-то не трудно. Ценнее — поднять. Созидать, а не разрушать.

Сергей счастливо улыбался. Ему казалось, что от Тропинина исходит внутренний свет. Глаза художника стали совсем молодыми. Ласковое, проникновенное лицо вырисовывалось, как на портрете, написанном нежными, пастельными тонами. Многогранный мыслящий творец! Как его сразу почувствовал Сергей. И как понят им сам...

— В работе, по-моему, — продолжал Тропинин дружески, — важен первый присест. Впоследствии натура соскучится, и это скажется на твоём же рисунке. Я частенько пишу после на память, подмалевывая голову и руки «искрасна». Сперва нужна кровь, а затем уже — верхние покровы. Все внимание держу на лице натуры. Платье пусть разделявает портной. Понял, друг? Или иначе как мыслить?

Сергей не сводил с него взгляда.

— Я слушаю вас, мне некогда сейчас мыслить.

Тропинин засмеялся и похлопал легонько посетителя по руке.

— За сюжетом, по-моему, тоже не стоит особо гоняться. Сюжет всегда найдется, — он вокруг нас. Не стоит задаваться чем-нибудь уж чересчур возвышенным. Душа человека — возвышенная цель сама по себе. И за красками не гонись, за их эффектами, не щеголай ими зря. Бери краски самые немудреные, из москательной лавки. И сам их растирай. Не верь никаким лакам, никаким гарантиям прочности, это всё изменники. Разве знаешь, как на эту «гарантию» подействует воздух, раз не сам мешал?..

Он вдруг спохватился:

— Да постой, соловья баснями не кормят. Сейчас у меня обед. Пойдем, отведаешь наших щей и каши. Может, и переночуешь у меня? А денег не надобно ли?.. Хватит? Смотри, так ли?.. И помни наш разговор: твердо шагай по любимой живописной дороге. А пока идем к столу.

7

ДОБЫТЧИКИ ВОЛИ

Ранним тусклым утром обоз въехал в столицу. Слегка морозило, но Сергея знобило от волнения. Снова он в любимом прекрасном городе.

Недалеко от Гороховой улицы вознички остановились. Сергей расплатился с ними. Невелик был груз чемодана со свертком рисунков, и он широко

зашагал в сторону Васильевского острова. Надо попытаться увидеть старых друзей... Может, еще живы. А живы, так, верно, на прежней квартире. Лучанинов — домосед, человек привычки.

Сергей с удивлением оглядывался. Улица имела необычный вид. Из казарм Московского полка валом валили солдаты. Толпа заполняла двор и мостовую. Колыхались знамена. Сквозь беспорядочный гул голосов прорывались отдельные слова команды:

— Стройся, ребята!

— Назад!

— Ружье на плечо!

Сергей остановился.

Морозный воздух прорезал звонкий голос офицера:

— Ре-бя-та! Императора Константина Павловича задержали по дороге в Петербург. Гвардию хотят заставить присягнуть великому князю Николаю Павловичу! Ужли пойдете на это?..

В ответ раздался выкрик:

— Не хотим Николая! Не изменим Константину!

От толпы солдат отделился человек и крикнул:

— Кому собираетесь присягать, предатели? Тому, кто незаконно отнял трон у старшего брата?

— Бери зная, недостойно изменникам нести его!

Началась борьба за полковое знамя. Оно то исчезало, то показывалось вновь над головами солдат. Точно под порывом ветра колебались ошетилившиеся штыки. Барабанная дробь заглушала гул человеческих голосов.

Сергея оттеснили к стене высокого дома.

Выбравшись с трудом из толпы солдат, он пробежал дальше и завернул в трактир переждать и выпить чаю. Сердце у него взволнованно колотилось. Неужели совершается что-то серьезное, о чем говорил когда-то Лучанинов и только вчера намекал хозяин постоянного двора?..

В окно трактира он видел идущие с распущенными знаменами военные отряды. В самом деле, кажется, бунт.

Сергею не до чая, он снова среди толпы. Что происходит в Петербурге? Всюду множество людей разных званий, по-разному одетых, с испуганными или озабоченными лицами.

Какой-то человек в военной форме бежал от казарм Гвардейского экипажа. За ним гналось несколько матросов. Они кричали:

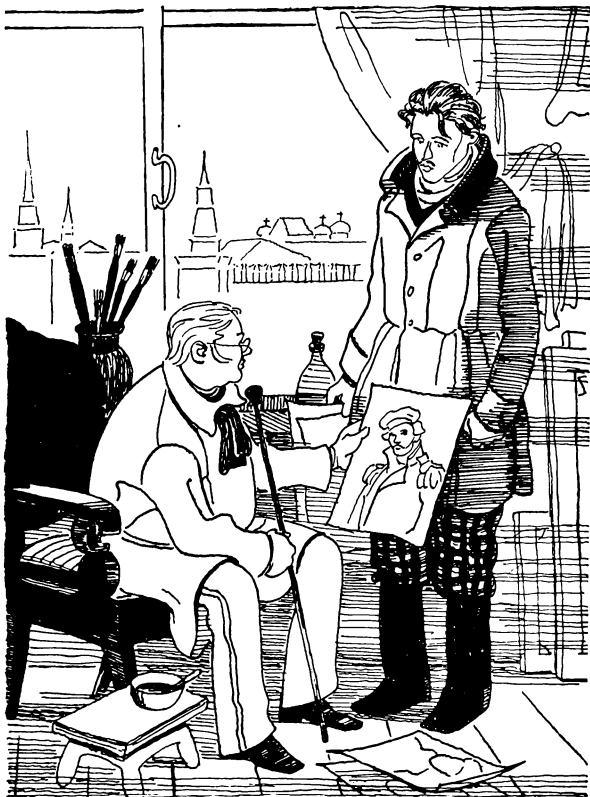
— Мутить народ вздумал? Присягать велено Николаю, а не Константину!

— Стой, стой, вашбродь!

— Да он вовсе и не офицер, братки!

«Бунт, — окончательно понял Сергей. — Бунт за волю! И начинается он с военных. Ведь, если восстанут петербургские солдаты, за ними восстанет и вся русская армия!.. А сила-то вся народа — в войсках!»

Но где они, освободители? Как найти их? Как слиться с ними, стать в их ряды? Всегда далекий от реальной жизни, Сергей не знал, кто они,



Сергей вынул из принесенного свертка несколько рисунков. Тропинин обстоятельно рассмотрел каждый из них.

эти передовые смелые люди. Может быть, он и встречал их прежде. У Федора Петровича Толстого, например, велись иной раз вольнолюбивые разговоры.

Солдаты прошли, и улицы затихли. Замелькали чиновники, мастеровые, торговки, досужие люди, няни с детьми, закутанными в теплые шубки, деревенские мужики с котомками на плечах. Изредка попадались барские возки, обитые внутри медвежьим мехом, кареты с гербами...

Сергей остановился и невольно засмотрелся на город, в котором не был, казалось, века. Налево — Сенатская площадь. Под солнцем ясного морозного дня четко вырисовывается контур памятника Петру. Справа — шпиль Адмиралтейства горит огненным блеском. Из-под арки, где помещается морской музей, выходят люди, глядят в сторону Сената и прибавляют шаг. Вместе с другими Сергей поспешил туда.

Людей все больше и больше. Они бегут, заполняя площадь.

Какой-то мальчишка визгливо выкрикивает:

— Солдаты бунтуют!..

— Я тебе побунтую, — бросает ему вслед человек в огромном картузе лабазника.

Но мальчишка уже возле застроенного лесами Исаакиевского собора, у поленицы дров. Он влезает на нее, чтобы лучше видеть. Кругом — густая толпа. Из соседних улиц и переулков вливаются все новые и новые войсковые части.

Разноцветные мундиры, разнообразные кирасы, кивера, султаны, как на параде, наполнили всю площадь. Сведущие люди называли полки и объясняли, какие из них за Константина и волю и какие за Николая, а значит, против воли. С волнением произносили фамилии: Рылеев, Бестужев, Каховский, Кюхельбекер.

Рылеев? Бестужев? Неужели они? Сергей встречал их у Толстого. Встречал, но ничего не знал, не догадывался даже! Они командуют теперь бунтующими солдатами. Вон, вон — такое памятное нервное лицо Рылеева! Надо подойти к нему, напомнить о себе и попросить взять в ряды бойцов за волю. Но Рылееву сейчас не до него. Сергей пойдет к нему завтра. «Добытчик воли» не может выдать его.

Мороз крепчал. Солдаты дрогли в тонких мундирах, и люди в толпе тоже переменились с ноги на ногу в ожидании чего-то решающего.

Солдаты резко разделились наконец на два лагеря. И волна приветствий заглушила все звуки:

— Ура, Константин! За волю!.. За волю!..

— Как это так: «Ура, Константин»?.. — слышит Сергей возмущенный тенорок старика в затрепанной шинели, потрясающего бумагой: — Я уже и стихи ко дню восшествия на престол государя императора Николая Павловича написал. Вот! Извольте, судари мои, выслушать...

Старика грубо оттеснили.

Где-то раздался одинокий выстрел.

Кругом заволновались, закричали:

— Убили! Кого убили?..

— Матушки, караул!.. — истощным голосом завопила какая-то монашка и стала протискиваться сквозь толпу.

— А ты бы не ходила куда не звали, святая душа на костылях! — загоготал работник с пилою за спиной.

— Братцы, сказывают, убили генерал-губернатора!

— Неужели Милорадовича?

— Вон, гляньте! — Маляр указал по направлению выстроившихся в кадре солдат Московского полка.

Сергей увидел вдали лошадь, а на ней генерала в одном мундире, с голубой лентой через плечо. Он лежал головой на шее коня. Треугольная шляпа съехала, кровь заливала пышный белый султан.

— Гене-ра-ала убили-и! — возбужденно визжал на поленице мальчишка. — Крови-то сколько, крови... Страсть!..

Люди вставали на носки, чтобы лучше видеть. Толкотня и давка спирали дыхание. Глаза застилали морозный туман.

Сколько же прошло времени? Холод все сильнее. Ветер рвет перья на шляпах офицеров. Люди хлопают себя по плечам, чтобы согреться, переминаются, топчут ногами, но упорно ждут.

Вдруг какое-то резкое движение в толпе и неистовый крик:

— Сейчас будут стрелять! Бунтовщики не хотят складывать оружия!

Площадь разом замирает. Долетает команда:

— Пальба орудиями по поря-адку! Правый фланг — первый!

Застраившая в толпе монашка снова вопит:

— Убьют ни за что! Господи, помилуй. Микола милостивый...

— Подайся, дура, назад, авось цела будешь! А мы стоим за матушку Расею и волю! Давай-ка лом, молодчик!..

Рослый сбитенщик, скинув с плеча жбан, выхватил у рядом стоявшего дворника лом и начал выворачивать из мостовой камни. За ним потянулись и другие: мастеровой, маляр, разносчик. Сбежались мальчишки и затеяли нешуточную игру: кто наберет больше камней, кто лучше прицелится. Намечали орденские ленты, шляпы, головы и крупы коней. Собрали кучу булыжников, рассыпали поленицу.

Пальник у орудия или не понял приказа или не решался стрелять в своих же русских солдат. Уже немолодой, он, верно, знал настоящие сражения с врагами и теперь колебался. После нового грозного окрика он нехотя взялся за пушку.

Гулко раскатился первый орудийный выстрел. И вдруг все смешалось перед Сергеем. Он стоял одиноко, с чемоданом в руке, выронив сверток рисунков. Кругом падали люди.

Под огнем пушечных выстрелов солдаты выстроились в новую колонну и двинулись по льду через Неву к Петропавловской крепости. Там, под прикрытием крепостных стен, они собирались начать переговоры с Николаем Павловичем. Но картечь то и дело вырывала из колонны новых людей.

Как Сергей очутился на льду, он не помнил. Стоял посреди Невы, у полыньи, а позади продолжали бухать орудия. Рядом слышались крики и стоны.

Колонна военных редела и снова упорно строилась среди широкого снежного простора. За солдатами беспорядочно бежала толпа. В пороховом дыму и морозном тумане смутными силуэтами вырисовывались кивера, простые трюхи, шапки и картузы безвестных добытчиков воли. Солдат отличали лишь качавшиеся над ними острия штыков.

— То-нем! Спаси-ите, то-онем!..

Сергей увидел широко разлившуюся темную воду польны и вокруг нее окровавленных людей. С разбега они не замечали водяной пропасти и, попав в нее, старались выбраться. Выстрелы заглушали треск льда, всплески воды и хриплое дыхание утопающих.

Другие, миновав ледяные капканы, неслись напрямик, проваливаясь в сугробы, обивая ноги о бугры обледенелого снега. Бежали к Васильевскому острову. Следом за ними рванулся и Сергей.

Точно в бредовом сне, все жутко и неясно. Что это? Знакомое здание... Она — академия. Толпа бросается вместе с солдатами к ней.

— Дьяволы! Они заперли ворота!

— Чертова ловушка!

— Братцы! Братцы!..

Люди метались, жались к зданию. А с Румянцевской площади их уже настигал посланный Николаем в обход кавалерийский отряд.

— Сбивай ворота! — в бешеном отчаянии крикнули в толпе.

И под напором людей прочные оленинские ворота затрещали, готовые соскочить с петель.

Но налетела конница. Засверкали сабли. Опять полилась кровь. Тяжелый удар обрушился на Сергея. Он упал ничком и потерял сознание.

Ранен или просто сильно расшибся? Ноет тело, болит голова. До груди нельзя дотронуться. И ноги на морозе одеревенели. Но крови не видно.

Где же люди? Никого. Успели, значит, разбежаться... Нет, вон лежит, разметавшись на снегу, неподвижное тело с восковым лицом. Сергей подполз к нему. Мертвый! В синих сумерках едва видны закатившиеся зрачки убитого солдата. Воет ветер, намечает сугроб на окоченевший труп, на чью-то обретенную рукавицу, на откатившийся кивер мертвого. Сергей с трудом поднялся.

Послышалась четкая дробь шагов. Возле гранитных перил набережной прошел патруль, не заметив Сергея. И снова — мертвая тишина.

Куда идти? К Лучанинову? Слишком далеко, — туда не дотащиться. К бывшему хозяину квартиры — Васильеву? Тоже нет. Жена его добрая, отзывчивая, но любит поговорить «всему свету по секрету». Да и напугаешь, пожалуй. К натурщику Агафоподу в подвал? Когда-то Сергей откопал знаменитого красавца в бане и помог в новой карьере. Но вспомнит ли его Агафопод? Да и не опасно ли довериться ему, чем Анне Дмитриевне?

К Толстому Федору Петровичу? Он живет теперь в самом здании академии. У него профессорская квартира. Уж Толстой, конечно, не выдаст. К нему, к нему! И няня Ефремовна, если жива, крепкая старуха, всем в

доме верховодит. Она пожалеет по-хорошему, по-старушечьи. Ведь привела когда-то его. И любовь его с Машенькой помнит. Скорее бы добратся!.. Как болит голова, и ноги совсем не слушаются. И проклятая спина тоже дает себя знать. Вечная памятка о черте с рогами и хвостом!

Пришлось долго стучать в ворота, пока наконец открыли. Новый дворник не знал человека в полушубке.

— Чего надо? Нашел тоже время шататься! Страсти какие на улице, а он в ворота колотит.

— Мне к графу Федору Петровичу Толстому.

— Графа нет дома, срочно вызван. Да уходи, — ветер с ног валит.

— Я к няне... Матрене Ефремовне... Родня ей... Пусти...

— Коли так, проходи поскорее. Пускать никого бы не след. Давеча ворота чуть не выломали. Ужаси что творится!

Знакомая обстановка. Как в «розовом» доме — высокая постель с горою перин, и на ней ничуть не изменившаяся, такая же прямая, в таком же белоснежном чепце, няня Ефремовна. Та же строгая складка у губ, тот же зоркий, из-под очков взгляд, и спицы с чулком в руках.

— Кто там пожаловал? Не разгляжу в потемках...

В комнате светит только лампадка. Привычные пальцы найдут петли и в полусумраке.

Сергей почти со стоном бросился к старухе.

— Кто такой? Ополоумел аль пьян? Не пойму я, что за парень?

— Сергей... Сергей Поляков, Ефремовна. С бороδοю я... не признали?

Она не сразу ответила. Лицо было сурово.

— Зачем пришел и где пропадал столько годов?

Сергей не мог говорить, слезы душили его. Это была та, возле которой жила когда-то Машенька.

— Нешто ходят в гости в эту пору? — спросила Ефремовна отрывисто.

— Не до гостей мне. Приютю.

Она опять помолчала.

— Не знаю, ни откуда ты пришел, ни где скитался. Знаю одно: немца-управителя зашиб и от господ своих улег. Знаю еще: на Машеньку-покойницу сраму навел. Может, и в могилу из-за тебя сошла. Я сама крепостная. И вот что тебе скажу: всяк сверчок знай свой шесток. Терпеть надобно, ежели от бога предел холопства положен. Не один, чай, терпишь!

Сергей стоял на коленях, опустив голову. В глазах у него темнело, он прислонился лбом к краю постели.

— Тебя и впрямь не узнаешь. А приютить я не могу. На улицах бунт, а я стану неведомых людей принимать, чтобы Федюшку под ответ допустить! И так он лежковерный, что младенец, каждому душу раскрывал. Доброты ангельской человек! Кто его ныне устережет от беды, окромя старой няньки?

Она еще помолчала.

— Но ты не бойся, я не доказчица, про тебя никому, даже Фёдюшке ужо, как вернется, не скажу. А ночевать все же не позволю. С час тому или больше тоже солдатик этак просился, говорил, не бунтовал, а сам ранен. Начальство будто бы его послало против бунтарей, а они его камнем или ломом хватили, отбиваючись. Я и того не приказала оставлять. Нашла старого белья, рану перевязала, накормила и честь честью выпроводила. Кто его знает, бунтарь он аль правду сказал? Потом попробуй разберись, как полиция с обыском нагрянет.

— Прощайте, — глухо проговорил Сергей и, с трудом поднявшись, взялся за чемодан.

— Больно скор, парень. Пстой! Оставить ночевать и тебя не могу, а сразу гнать ослабшего человека тоже не согласна. Ведь и я, чай, православнодушная. Накормлю, напою, отогрею, и с богом. А куда идешь и откуда, знать мне не надобно. Не могу я тебя выгнать еще и потому, что Машенька, божий херувим, крепко, видно, тебя любила. Хотя ты и погубитель ее, а все же был ей люб. Часто о том она говорила мне... Сядь, посиди. Да чемодан поставь на пол, авось не пушка в нем спрятана.

Сергей молча опустился на кованный сундук и закрыл лицо руками.

Ефремовна с трудом слезла с горы перин и открыла дверцу печурки.

— Вот тут у меня ужин мой, чтобы не остыл, в тепло поставлен. Ныне пост: каша гречневая с конопляным маслом да кислые щи. А вот и хлебушко. Ешь.

Сергей почувствовал, как голоден, и стал жадно глотать щи ложку за ложкой. Ефремовна достала из печурки и кофейник.

— Вот тут и кофей старинного рецепту: овес с ячменем и желудями да винными ягодами. Завсегда его для крепости пью. Напейся горяченького, отдохни и пойдешь.

Он выпил кофе и стал действительно как будто крепче.

— Возьми вот пирог на дорогу. И смоквы домашней на меду. И прощай! Не ровен час... Ныне всего боюсь. Стара стала. Да и время такое пришло страшное. Солдатика, говорю, не приняла, раненого. Иди, иди...

— Прощайте, спасибо.

— Да постой, куда ты так сразу? Дай я благословлю тебя: от бед старческое благословение иной раз спасает. Ведь твое дело сиротское, знаю я...

Старуха обняла его, поцеловала и трижды перекрестила.

Сергей поднял голову и прислушался. Издалека глухо и неясно доносились звуки скрипки. Под низкими сводами каморки нежно замирали певучие аккорды.

Ефремовна ворчливо объяснила:

— Президент-то наш всю академию вверх дном перевернул. Во дворе видел, какие строят каменные палаты? Манеж, где зимой станут писать для театров какие-то де-ко-ра-ции... А летом — лошадей и зверей всяких... И музыке ныне на разных инструментах учат, пению и танцам. Эка дрянь какая, прости господи! В пост на скрипке наяривают, да еще в такое страшное время, беспутные!

Ефремовна перекрестилась и отпустила Сергея.

...Они опять сидели рядом в мастерской, у топившейся печки, всматривались друг другу в глаза и говорили, бестолково, отрывисто.

Сергею хотелось рассказать Лучанинову все, с самого начала, а вместо того он только спрашивал:

— Меня не найдут здесь? Не лучше ли уйти? Не будет ли обыска? Ты видел: везде патрули. Я только до утра...

— Кто-нибудь встретился тебе возле подъезда?

— Никто. Дворник у ворот спал. Да у меня паспорт надежный.

— Это хорошо. Может, и будет полицейский обход, кто знает. Миша, как всегда, спит. Да он тебя, пожалуй, все равно теперь и не узнает, не опасен. А я скажу при случае, что ты мой двоюродный брат. Приехал, мол, незадачливо из деревни. Перепугался до смерти. Я человек тихий, домосед, мне поверят, думаю...

— Вся полиция небось поставлена на ноги, — предупреждал Сергей.

Лучанинов только растерянно развел руками:

— Сам видишь, как все нехорошо с бунтом получилось! Попал ты, брат, в самую что ни на есть кашу. Нашел же время вернуться! Хочешь не хочешь, а придется тебе выждать и высидеть у меня, как в карантине.

Всю ночь они проговорили. Сергей сказал, что собирается съездить погостить к Елагину в Петровское.

— Эх, и написал бы я ему с тобой, Сережа, письмо! — почесал в затылке художник. — Да лучше не надо. Вдруг оно ненароком попадет к кому-нибудь, только тебя погублю. А Елагин, наверное, хорошо тебя помнит и приютит. Он славный человек. В Петровском и без всякого паспорта целые годы жить можно. Ну, Сережа, поешь, да и на боковую. На тебе лица нет.

— Сыт, — отказался Поляков, — да и вас с Михаилом могу угостить.

И вынул пирог Ефремовны. У него разламывалась голова и мучительно ныла больная спина.

На улице продолжала бушевать метель. Ветер раскачивал фонари у ворот и крутил полы шинелей у шагающих патрульных. В белесовой мгле тонулись вереницы возов. Из-под рогов виднелись головы, руки и ноги мертвецов.

Порою слышался окрик часового:

— Кто идет?

Прохожие были редки.

Горели костры. Возле них стояли пирамидки ружей в козлах. Солдаты грелись.

Новый царь Николай I приказал обер-полицеймейстеру к утру убрать город. На караульные посты командующим офицерам велел подать чай, белый хлеб и закуски. Послушные офицеры оценили милостивую заботу императора и, в свою очередь, приказывали солдатам усерднее уничтожать следы дневной бойни.

И те скребли изо всех сил и увозили с площади окровавленный снег, пробивали толщу льда на Неве и топили мертвецов.

А перед Зимним дворцом все еще настороженно темнели пушки.

К СТАРЫМ БЕРЕГАМ

Он был неузнаваем, владелец старого гнезда, затерявшегося в глуши Новоржевского уезда. Даже дом, выстроенный лет около ста назад, не так постарел, как его хозяин. В округе Елагина называли уже «старый барин», или «Петровский старик», хотя ему едва перевалило за сорок пять лет. А большинство его прежних товарищей считали себя еще бравыми офицерами.

Елагин встретил неожиданного гостя в зале. На нем был распахнутый знакомый чекмень и маленькая восточная тюбетейка, а в зубах — неизменная трубка. Едва он приподнялся с кресла, с колен его, визжа, посыпались щенята.

Сергея поразило и лицо Елагина, все в мелких морщинах, и по-стариковски согбенные плечи. Тюбетейка сползла немного набок и открыла сильно полысевшую голову.

— Кого бог привел? — спросил Алексей Петрович, всматриваясь.

К нему, видимо, нечасто приезжали гости.

— Колокольчики слышал. Думал, кто — мимо, ан ко мне...

— Не узнаете? Сергей Поляков, художник. Оброс бородой, вот никто и не узнает.

— Кто-о?! — Скуку точно сняло с лица Елагина. Широко раскинув руки, он бросился к гостю и обнял его:

— Вот праздник-то ты мне устроил, Сережа! Прямо скажу, неожиданный праздник! Как в старое время, когда еще... — из груди его вырвался громкий всхлип, но он поборол себя, — когда жива была моя Параня... — Он засуетился. — Господи, чем я только потчевать дорогого гостя буду? Забытый я, брошенный человек, скудное мое житье, а внутри, в душе, еще скуднее! Пустота... Ну да ладно! Сейчас, сейчас! Все, что есть в печи, на стол мечи... Сашка, позови ключницу, скажи — все, что имею, пусть подаст, да чайку самого лучшего, китайского — «лянзина», что еще твоя мать берегла. И ямщика хорошенько накормить, водочки поднести. Слышишь?

Десятилетний Саша, ничем не напоминавший прежнего упитанного карапуза, в мятой, засаленной рубашке и валенках, побежал исполнять приказание.

Около Елагина остался другой ребенок, лет трех, тоже в валенках, на редкость красивый и похожий на Алексея Петровича. Уцепившись за чекмень отца, он таращил на гостя черные внимательные глаза.

— Вот рекомендую: второй сын — Вася. Дай ручку, Васенька. Да погоди, утру слезы. Дурачок, — нежно сказал он, вытирая ребенка грязным носовым платком: — плакал о щенятах. Собаки да лошади — вот все, что у меня осталось на сем свете с детьми. Жизнь кончена, владу жалкие, никому не нужные дни.

...Они сидели уже несколько часов, пили чай, что берегла когда-то Прасковья Даниловна для парадных случаев, и подливали в него ром. На столе стояли тарелки с обедками жаренных в сметане карасей, твердого, допотопного балыка, засохшей икры и гуся. Все это подала старая ключница Домна Фоминична, подслеповатая, угрюмая, в заплатанных валенках, в грязной кацавейке и низко надвинутом на лоб платке. Она ушла, уведя с собою детей. Скоро их звонкие голоса послышались за окном, на дворе, где по приказу Елагина была устроена для них ледяная горка.

Наливая рюмку за рюмкой, помещик говорил:

— Вот так и живу. Три уже года заброшен, как умерла Параня...

Он повел рукой, указывая на убожество своего жилья.

В печке трещали березовые поленья. От них пылало жаром, но в огромной комнате было все-таки прохладно.

— Топим, топим целый день, — жаловался Елагин, — а все холодно. И из соседей никто не ездит. На что я им? Заедет разве почтарь или церковный причт в праздник отслужить молебен и пропустить водочки. Дашь им с собой окорок, а то творогу, яиц, масла, сметаны — одним словом, деревенского гостинца, только и было... Налижутся вместе со мной и надолго прочь со двора. А помещики — ни ногой. Как-то раз заехал один, хотел, видишь ли, на ум-разум наставить: женить. Да я его под пьяную руку прогнал. Он мне какие тогда слова сказал! Подумай, Сережа... Страшные, бессовестно-жестокое слова... Тебе, говорит, надо всю эту нечисть — вон! Это детей моих «нечистью» назвал, родных детей, от Парани сиротками оставшихся. До чего, говорит, ты дошел: свинья свиньей живешь и дом у тебя весь прогнал и закоптел, в собачник превратился!

Сергей ласково улыбнулся ему:

— И в самом деле, Алексей Петрович, у вас собачник. При Прасковье Даниловне чистота была изумительная.

— Еще бы! Параня завела полы мыть квасом. А здесь, в зале да в гостиной, каждую неделю даже воском натирала. Для пыли ей дворовые девочки тряпочки вышивали. «Так, говорила, я их понемногу, с малолетства, приучаю шить и вышивать». А теперь — вот!..

Он снова беспомощно развел руками.

И действительно, пол здесь мели, видимо, в особо торжественные дни. Резко пахло псиной. Собаки, как полные хозяева, уютно укладывались спать на креслах и диванах. Щенята тыкались носами и лапами в плоски с молоком и остатками супа, опрокидывали их, проливали. Трюмо, наддвиганные зеркала, люстра с канделябрами были засижены мухами. Из плохо законопаченных окон дуло.

— Так вот и живу, Сережа, — повторил несколько раз Елагин. — Так вот и живу, мил-человек. Выпьем еще за упокой души рабы божьей Параскевы...

— Отчего она умерла, Алексей Петрович?

— А умерла глупо, Сережа. Ты же знаешь, ничего я не жалел для нее. Любил всем сердцем. Жена и жена, даром что поп в церкви не венчал. Было у нее под началом немало дворни. Только больно любила покойница

зверье. И за скотным двором сама присматривала. Сама и кур кормила, помнишь? А ведь была у нас особая птичница. Так вот. Родила она мне Васютку как раз под самое крещение. Морозы стояли трескучие. А она, больная, на босу ногу надела валенки да и пошла с постели прямо в хлев, тогда корова телилась. Она всегда говорила: «Ежели я не помогу, один коновал не справится». Ну и помогла: корова разрешилась, и телушка вышла на диво, ныне уж своего телянка к осени принесет... А вот Параня... простудилась... и померла. Стала вся гореть, без памяти... Я доктора на коленях просил спасти. Не спас...

По лицу Елагина катились слезы.

— Вот мы и осиротели, Сережа: я и дети. Ваську я сам из рожка выкормил, ночи не спал. И Сашку ращу как умею. Люблю их обоих, особенно Сашку. Лицом он не в нее, она была русская красавица. А есть в нем ее крепость, смекалка, ловкость. Схож он с ее отцом, с дедом своим. Крепким мужичком растет Сашка, толковым. Васька хилее. Васька от дворянской елагинской крови много взял. Ему бы только на перинке лежать, в кружевах. А Сашка, хоть косу, хоть лом с пилюю дай, управится. И топором рубить славно будет, по-дедовски. Только Ваську другой раз жальче, чем Сашку. Сирота, думаю, и материнской груди даже не знал.

Взгляд Елагина был мягок и печален.

— Лягу спать — не спится. Все кланю себя: на кой прах я свою жизнь загубил из-за дурацкого дворянского гонора? Почему не обвенчался с Параней, не дал ей быть законной хозяйкой, мою фамилию носить и детям ее передать? Теперь они, дети мои, — мои же крепостные. Ну я, понятно, дам им вольную. А как умру-то, что будет ссор да драгз. Ведь и на мое разоренное гнездо, на Петровское, налетят «законные» коршуны!..

Сергей задумчиво прогворил:

— Слышал я, что граф Шереметев на своей крепостной женился, тоже Параней звали. Параша Ковалева — деревенского кузнеца дочка.

— И я про это знаю, Сережа. Самой императрице Екатерине Второй была известна, потому таланта замечательного была сия актерка. Только и она не скоро повенчалась с графом, — вздохнул Елагин. — И вольную всего года за три до этого тайного брака получила. Однако свет и тут не признал ее и в свою стаю не принял. Лишь в гробу, на пригласительном похоронном билете, была она впервые названа «графиней». Но и тогда знать не удостоила бывшую крепостную своим присутствием. Говорят, граф этим так расстроился, что даже занемог и на похоронах тоже не присутствовал. Гроб с графиней Парашей провожали только одни крепостные актеры да знаменитый архитектор какой-то...

— Кваренги, — подсказал Сергей, вспоминая великолепное московское здание вблизи Сухаревой башни — странноприимный шереметевский дом¹, построенный этим зодчим в память актрисы Жемчужовой — Парашы Ковалевой.

— Выпьем еще, Сережа, за упокой души моей Парани...

¹ Ныне больница им. Склифосовского.

...Зима уходила, Сергей продолжал жить в Петровском. Елагин не хотел и слышать об его отъезде.

— Ты забудь и помышлять о вояже, милый мой, — говорил он в сотый раз. — Меня ты не обьешь, для тебя хлеба хватит. А мне ты все равно что солнца свет. Тебе же здесь безопаснее, чем в другом каком месте. Сюда никакая погоня не доскачет. Здесь паспортов не требуется. Полиция ко мне не заглядывает, а если и заглянет, не домекнется. Ты же учишь Сашку. Изволь то понять, мальчик в тебя влюблен, право, влюблен... Сашка, влюблен ты в дядю Сережу, а?

Мальчик смотрел на художника умными глазами.

— Не знаю. Дядя Сережа хороший. Дядя Сережа, пойдем к пруду на салазках кататься?

— Почему бы и не пойти? — улыбнулся художник.

— Ты человека из снега слепишь?

— Обязательно.

— И с усами? И в шляпе? И чтобы смеялся...

— Ладно. Будет и смеяться.

— Смеялся и глаза таращил. Чтобы, кто посмотрит, и сам от хохота лопался бы!

— Ну и задачу ты мне задал, мальчик! Что ж, попробуем сделать такого человека вместе.

Побежали в сад, к пруду. Дети болтали без умолку:

— Дядя Сережа, давай кататься не на салазках, а на решете — веселее!

— Давай на решете, — согласился Сергей.

— Ле-се-те... — картаво тянул за старшим Вася.

— Решето крутится, крутится, как пустишь его!

— Ку-у-тица, — нараспев повторял Вася и заливался смехом.

От этого смеха и детских голосов усталая душа Сергея молодеда. Точно сам превратившись в ребенка, он пускался с горы впереди целого поезда дворовых ребятишек в обледенелых решетках. Салазки и решета налетали друг на друга, ребятишки валялись в снег, визжали, хохотали, а он кричал громче всех:

— Куча малá!

Потом лепил из снега великана. Саша с деловым видом помогал ему и показывал:

— Дядя Сережа, вон какой я сделал нос!

Когда художник разрезал снежной бабе щепкой широкий полуразинутый рот, вставил в него из угольков черные клыки, вылепил рачьи глаза навывкате и большую бородавку на губе, ребята повалились в сугроб, визжа от восторга.

Саша не отходил от Сергея, прося его без конца рисовать. И Сергей начал замечать, как все сильнее и сильнее дрожал в пальцах карандаш, как художественный «почерк» его становился все более неуверенным и слабым. Он сознавал, что подняться на ноги, как советовал Тропинин, уже не-

легко. Все, что он рисовал, стало походить одно на другое. Не было ни оригинальности мысли, ни того подъема, когда во время работы все окружающее переставало для него существовать.

Конечно, ждать от себя чего-нибудь серьезного, выполняя заказы ребенка, было бы нелепо. Но щемящую боль в душе и страх вызывало другое: его переставало тянуть к кисти. День за днем в нем остывало творчество.

Саша засыпал Сергея заказами:

— Дядя Сережа, нарисуй мельницу. А под мельницей пусть вода. А в воде рыбу тянут сетью. Когда будет тепло, мы с тобой тоже пойдем на мельницу и станем купаться.

Сергей рисовал мельницу и рыбаков с сетью, но чувствовал в каждом штрихе неизменную вялость.

Он подарил Саше набор цветных карандашей и скоро с изумлением заметил, что мальчик легко и быстро набрасывает то, что ему хорошо знакомо: пестрых цесарок и индюка с распушенным хвостом, кур и возле них женщину; лошадь или корову, щиплющих траву; собаку, окруженную щенятами...

Это были неумелые детские наброски, но в них уже виднелись наблюдательность и несомненное дарование.

Мальчик показывал на рисунок и объяснял:

— Это я маменьку хотел нарисовать, дядя Сережа. Да не помню лица маменьки. Помню только, что она пела и смеялась.

Сергей вспоминал спокойную, величавую улыбку Парани, и у него сжималось сердце. Уходили из жизни милые, полезные другим люди, как уходило от него творчество. И не хватало сил создать что-нибудь настоящее, стоящее. Он становился годен, пожалуй, лишь на то, чтобы научить первым приемам рисования этого мальчика, дать ему начальный толчок для возможного будущего.

Трехлетний Вася тоже тянулся к карандашу и выводил на клочках бумаги какие-то корявые кружочки.

— Калтоска, — картавил он и рисовал новый кружок. — Ябоско...

И еще один:

— Мясик...

Кружки были похожи один на другой, но мальчику нравилось чертить. Он часами не выпускал карандаша из рук.

Саша уверенно говорил:

— Я буду живописцем, дядя Сережа, как ты.

— Нет, мой милый, ты будешь... лучше меня, — отвечал Сергей с тоскою.

НЕ САМ, ТАК ДРУГОЙ

Пришла весна. В окна угловой комнаты, где жил Сергей, бились набухшими почками ветви старых груш. Зори были малиновые... Лучи солнца, длинные и теплые, томили тело и рождали в сердце грусть. С пригоров в

саду давно протекли вешние воды, и обсохшая согретая земля выбрасывала среди бурой, прошлогодней травы новые ростки и чудесно пахла. По уткам, когда были еще закрыты ставни, в солнечном свете суматошно плясали бесчисленные пылинки.

Сергей любил выходить на заре из дому и бродить по окрестностям. Пробовал, вспоминая прошлое, помогать крестьянам в работе. Зашел раз на кузницу. Прежде молот бывал для него не тяжел. Теперь он понял, что силы не те и молот не слушается его. Он отошел от горна с печалью в душе.

«Неужели не смогу косить, когда придут покосы?»

Вспомнилось, как любил он в ту пору вдыхать запах свежего сена, смотреть на разноцветные сарафаны в пожнях, особенно яркие и красочные на полдневном солнце.

Раннее утро. Сергей шел к заливным лугам. Там, по нежной еще зелени, в желтых цветах одуванчиков, бродили коровы. Слышалось дрожащее блеяние ягнят. Гулко щелкал кнут подпаса.

Старый пастух под ветлой у заводи плел лапти. Заводь курилась утренним туманом. До Сергея донесся печальный неприхотливый мотив и грустные простые слова:

Как не белая березонька к земле клонится,
Не зеленые листочки раздуваются,
Не шелковая ковыль-трава расстилается...

Сергей подошел ближе и поздоровался с пастухом.

У самой воды, на камне, сидела девушка-подросток. Бросая в воду желтые цветы, она смотрела, как их медленно уносило течением.

Старик оторвался от лапти и крикнул:

— Дуня, перестань! Сердце барину надорвешь. Брось, внучка!

— Пусть поет, — остановил его Сергей.

— Блаженная она у нас. Сызмальства так. Только зла в ней нету во все, сударь. Ну пой, когда барин велит.

Дуня улыбку и продолжала:

Еще стелется-расстилается полынь горькая,
Ох, и нет тебя горчее во всем чистом поле...

И покачала выразительно головой. Потом сказала, обращаясь к Сергею:

— Песен я знаю много. И про ветер знаю, и про сосенки:

Уж вы ветры мои, ветерочки!
Вы не дуйте, ветры, на лесочки!
Не шатайте, ветры, в бору сосну, —
И так сосенке стоять тошно...

Охватив руками колени и заглядывая в воду, где кружился, уплывая, последний цветок, она неожиданно заплакала:

— Жалостливая песня... И нет больше цветиков... нет!..

— Перестань, Дуношка, — заговорил дед. — Поди, я дам тебе лычку, будешь бросать в воду лычки. Не посетуйте на нее, барин, младенческий разум.

Сергея давило одиночество. Он поднялся в гору, к селу, к людям.

Было воскресенье. У церковной паперти нищий гнусаво тянул:

— По-дай-те, Христа ра-а-ади!..

На скамейке, подле ограды, разодетые по праздничному, судачили бабы.

Сергей прошел мимо них на кладбище. Кругом обступили могилы с давно покосившимися крестами. Ему стало страшно.

Мучительно потянуло к бодрой, радостной деятельности. Ведь, чтобы начать наконец работать, надо прежде всего почувствовать жизнь. Образ тоскующей у воды девочки он отогнал от себя, как что-то болезненное, враждебное...

Увидев после обедни на лужайке возле церкви нарядных девушек, собравшихся водить хоровод, он встал в их круг.

Все удивленно расступились. Девицы стыдливо захихикали, закрываясь кисейными передниками. Парни начали выпясывать нарочитые «коленца». Балалаечник прибавил лихости и выставил вперед ногу в новом сапоге с голенищем бутылкой.

Далеко разнесся хоровой напев:

Ой, не пыль в поле запылилася,
Не туман с моря подымается,
Подымались гуси-лебеди...

Сергей хорошо помнил с детства старинные песни. Он подхватил мотив:

А один-то лебедь оставался...

Голос прозвучал тускло, — Сергей не узнал себя. Когда-то он так легко и свободно брал эту ясную, высокую ноту.

Он повадился по зорям летать,
По зорям летать, по заутренним.
Он ко белой-то лебедушке...

Девушки плавно двигались по кругу, а парень-запевала выводил, точно кидая песню в самое небо:

Ой ты, белая лебедушка,
Да и где ж твое тепло гнездышко?

Хор подхватывал:

Мое гнездышко на синем море,
Под ракитою, под зеленою.

Сергей вышел из круга и медленно направился к дому. До него долетел смех и озорной приглушенный окрик:

— А и впрямь, шел бы ты, дедушка, на печку!..

Раннее утро. С шумом открылась ставня окна. И с потоками солнечных лучей в комнату ворвались дети.

Это они, его питомцы. Они его любят. Он им нужен, полезен. Значит, и ему нашлось на земле дело.

Саша вбежал первый, за ним — Вася. Оба взобрались на кровать, тебятили Сергея, стаскивали одеяло, тащили из-под головы подушку, мешали одеваться. Он брызгал на них водой из кувшина. Комната наполнилась визгом и смехом.

После чая дети снова прибежали в комнату, началось обычное рисование. Васе давно надоели его кружочки, в которых он научился отмечать точками и черточками нос, рот и глаза человечков. Но Саша усидчивее. Он жадно ловит указания Сергея и старается срисовывать старые гравюры, найденные им где-то на чердаке, как можно тщательнее.

Впрочем, на Сашу иногда находила странная неподвижность. Он мог долго сидеть, уронив карандаш и устремив застывший взгляд то на потолок, то на печку или на стену. Потом вдруг начинал фантазировать:

— Дядя Сережа, смотри: кони мчатся. И колесница Феба... а на ней Фазтон.

И показывал на пятна штукатурки, на растрескавшиеся и облупившиеся кирпичи лежанки.

Вспоминая давние академические уроки, Сергей часто пересказывал детям отрывки из мифологии Греции и Рима. Саша внимательно слушал, и в душе его рождались незнакомые до сих пор образы.

Крепкий, с широким носом и смысленным взглядом небольших серых глаз, он походил на маленького мужичка. Только рот, небольшой и красивой формы, да освещающая все лицо улыбка напоминали мать.

Способности к рисованию у него оказались замечательные. С каждым днем он делал всё новые и новые успехи. В детской руке карандаш и уголь двигались уверенно, набрасывая твердые и четкие контуры. Копии Саша делал поразительно верно, схватывая на глаз соотношения частей и размеры. Он хорошо рисовал и с натуры. А фантазируя, создавал наивные, но богатые по замыслу картины: дворцы, экзотические пейзажи, людей в необычных одеждах. В неумелых портретах его можно было узнать того, кого он хотел изобразить.

Сергей смотрел на его рисунки и думал:

«Для меня все кончено. Я уже не творец. Мысль стала вялой. Творчество заменилось шаблоном. Моя мечта не осуществилась, погибла... Но я

сделаю настоящего художника из этого малыша. Он — кость от кости крепостных, как и я. Только у него не будет моей участи: Елагин сделает его свободным. И мальчик даст искусству то, чего не смог дать я».

Сергей крепко сжился с Петровским и решил оставаться здесь, пока будет можно. Ему даже казалось, что его жизнь до Петровского была сном, что настоящая, реальная жизнь началась только в этом старом доме. Учитель рисования — вот его профессия. Разве плохо быть учителем?

Общая вялость и потеря веры в собственное дарование усилились в Сергее и благодаря спиртным напиткам. Он не заметил, как втянулся в дурную привычку. Былые одна-две рюмки обратились в постоянный стаканчик. Он пил утром, пил днем, пил вечером водку, коньяк, ром или херес, что подставлял ему под руку Елагин. Советы Тропинина перестали звучать укором, забылись, затерялись в отуманенной алкоголем памяти.

Когда на Елагина нападало особенно чувствительное настроение, он брался за скрипку.

— Сашка! — кричал он. — Иди сюда скорее! Эй, Марья, Дарья, кто там есть, Сашку сюда!

Прибегал Саша. Отец совал ему в руки инструмент.

— Играй! Веди, веди смычком. Я буду тянуть ноту, а ты веди. Слышишь ноту: а-а... а-а-а... а-а-а...

Смычок неловко скользил в руке мальчика. Струна только сипела, из музыкальной пробы ничего не выходило.

— Эх ты, балбес! Ну садись, слушай. Может, и дойдут до тебя ангельские вздохи...

Прижавшись щекой к инструменту, он начинал играть. Смычок судорожно вздрагивал: звуки получались обрывистые, трепещущие...

Напряженными, внимательными глазами Саша смотрел на отца. Потом оборачивался к Сергею и шептал:

— Ветер... воет... скрипит дерево...

— Дурак ты, Сашка! — Елагин раздраженно бросал скрипку на пол. — Дерево? Это адажио Бетховена!

Сергей спешил поднять инструмент.

— Не разбилась ли, Алексей Петрович? И то: колки выскочили и на деке, кажется, трещинка. А мальчик по-своему верно понял: ветер, буря... Возьми, Саша, карандаш, нарисуй бурю.

Детская рука набрасывала речку с волнами. Над нею, на обрыве, растрепанные, гнувшиеся книзу ветви развесистого дерева.

Елагин отнимал руки от лица, смотрел на рисунок и страстно притягивал к себе сына:

— Ты тоже кое-что смекаешь, мальчуган. И, ежели захочешь, далеко пойдешь. Съезжу-ка я в город, насчит бумаг разуюзнаю, да насчит школы. Учить тебя надобно. А пока дядя Сережа вот занимается. После и в академию можно будет. Бумаги я обязательно все должен выправить: вольную детям... и все этакое... Наследники мои! Немного же вам после меня



Саша жадно ловит указания Сергия и старается срисовывать старые гравюры как можно тщательнее.

достанется. Разорено Петровское, оскудел помещик. Да все же будете оба вольные и на хлеб себе легче сумеете заработать. Только вот дворянскую фамилию не смогу, пожалуй, передать, хлопот слишком много... Мне, забудыге, у государя не выпросить вам своей фамилии. Нет! Видно, владеть вам лишь одной половиной ее. — Он горько рассмеялся. — Послушай, Сережа. Я — Елагин потому, видно, что всегда был по горло сыт, всегда ел и имение свое про-ел. А они, может, и голодными еще насидятся. И будет им, детям моим, фамилия только — Агины.

Елагин осматривал свое хозяйство. Зашел в полутемную конюшню, с наслаждением вдохнул знакомый запах: смесь сена, конского пота и навоза. Запах напомнил ему молодость, кавалерийские разъезды. Послышалось ржание жеребенка.

— Ишь, барин, давно ли родился, а уж вам голос подает, — с умилением сказал конюх, — знать, хозяина признает, шельмец! Смышленный, весь в матку.

Кобыла хрустела сеном. Она подняла голову и радостно запряла ушами, скосив темный глаз. Сколько времени ее не седлали! Елагин ласково потрепал лошадь. Жеребенок ткнулся ему в колено мягкой, бархатистой мордой.

— Рыженький... Как назвали его, Силантий? — спросил помещик.

Конюх гордо ответил:

— Чистых кровей: от Вьюги и Терека, барин.

— Знаю, что от Вьюги! А она все такая же. И не стареет совсем.

И погладил крутую шею лошади.

— Как звать, спрашиваю, жеребенка-то?

— Кобылка, барин. Назвали «Параня».

Елагин кашлянул и хмуро отозвался:

— Не очень-то «чистых кровей» была моя Параня... Ну, да все равно. Параня! — повторил он, словно прислушиваясь. — Силантий, ты мне оседлай Вьюгу через час.

— Слушаюсь.

Елагин пошел к скотному двору.

Со вчерашнего дня он был взволнован. В Новоржеве, куда он ездил по делу освобождения сыновей от крепостной зависимости, узнались большие новости. О них в присутственных местах говорили шепотом, озираясь по сторонам. Из столицы до маленького городишки донеслась весть о судьбе декабрьского восстания. Правду мешали с вымыслом. Но Елагин все-таки понял, что участники «бунта», о которых ему рассказывал Сергей, все почти люди из знати, давно сидят по казематам. Над ними назначен строжайший суд, и кончится он для главных зачинщиков, наверное, казнью, а для остальных — каторгой и ссылкой.

Елагин подумал о своем госте:

«Ну, счастье его, что успел уехать, а то, может, сидел бы теперь за железной решеткой. К бунту припутали бы и старое вспомнили...»

Он часто рассуждал с Сергеем о крепостном праве. Легкомысленный и добрый, Елагин относился к крестьянам мягко. Но задумываться о злой доле зависимых от него людей ленился и успокаивал себя уверенным:

— Я своих крепостных никогда не обижал. Иные из них сами растаскивают мое добро, а я смотрю сквозь пальцы. Пусть так и живут до моей смерти. Там, может, придет и воля...

По дороге на скотный двор попала птичница с девчонкой. Обе кормили кур. Старый павлин, любимец еще Прасковьи Даниловны, с пронзительным криком гордо выступал среди пестренких цесарок и курочек-корольков. Весь напыхившись, на Елагина налетел индюк и, смешно захлебываясь и багровея, что-то сердито залопотал.

Птичница, заметив барина, давно здесь не показывавшегося, заспешила с кормежкой.

— Запущено хозяйство, — бормотал огорченно Елагин. — Параня знала счет всему. У нее каждый цыпленок имел кличку и приметку. А я сведу Петровское на нет. Надо бы поразмыслить, как его поднять. Ведь у меня малолетние дети. Хоть для них что-нибудь да сохранить.

Скотный двор был пуст. Коровы с утра паслись в поле. Только одна лежала на соломе, с налипшим на брюхе и ногах навозом.

— Заболела у нас нетель-то, барин, как есть, заболела! — запричитала босоногая скотница Акимья. — Как надясь ее в поле Красуля рогами в бок пнула, Параню-то. А то была она ничего...

Елагин остолбенел: «Тоже — Параня?»

— Что? Что ты сказала? Повтори!..

Глуховатая Акимья не разобрала слов. Увидев, что барин сердится, она закричала визгливым голосом:

— Да, ей-богу, барин, до того дня Параня была здорова. Я и коновалу показывала. Он и брюхо ей мял и дегтем мазал...

— Что? Что? Грязное брюхо... Коновал... Деготь?! Да как вы смели? Акимья не понимала:

— Коли что, соколик-барин, извольте приказать. Мухи одолели, садятся, черви заводятся. Прирезать бы, я говорю... Для людской мяса засолить можно. На леднике продержится...

Елагин затопал ногами:

— Дурачьё! Олухи! Прирезать! Параней называли!..

И с криком выбежал из хлева.

Акимья проводила его недоумевающим взглядом.

МЕЛЬНИЦА

Яблони отцвели. Отцвела и сирень. Стоял аромат жасмина. Сад был давно запущен: дорожек никто не чистил; клумбы заросли; из сорняка кое-где тянулись одичавшие маки, шапки пестрой турецкой гвоздики и высокие султаны голубого лупинуса. По живой изгороди из ельника сирот-

ливо вился измелъчавший побег когда-то роскошной каприфолии. Зато вокруг яблонь, по густому ковру травы, разрослись золотые чашечки лютика и алыми огоньками зажглась полевая герань.

Пришло горячее время сенокоса, луг запестрел яркими сарафанами, разноцветными платками и рубашками. По зорям звенели косы. Небо пылало пожаром восхода. По густым залогами заливались бесчисленные птицы, а от щебета ласточек под крышей сердце замирало радостью.

В одну из таких зорь Сергей пошел на луг и взялся за косу. Хотелось размять плечи, натрудить до мозолей руки. Развернув грудь, идти навстречу ветру в стройном порядке с другими косцами. Смотреть, как ложится рядами срезанная под корень трава. И дышать во всю силу легких свежими утренними запахами.

Сергей взялся за точило. Знакомый с детства визг стали. Первые солнечные лучи зажигают лезвие косы вспыхивающим блеском.

Сергей, как и другие косцы, поплевал на ладони.

Мужики по привычке крестились. Перекрестился и Сергей. Потом взмахнул косой.

— Господи, благослови!.. — прогудело хором.

Искаленная спина Сергея с трудом разгибалась; не хватало сил сделать взмах шире. Он сразу же начал уставать. Нудно заболели плечи. Заныла грудь и руки.

— Эй, барин разогнись! Не отставай! Подтягивай!..

Он бросил косьбу, едва пройдя первую полосу.

Мужики снисходительно посмеивались:

— Не за свое дело взялся, барин! Тебе бы лучше помазочками-кисточками помахивать-баловаться, чем косую. Негож ты в нашей работе!

Он сам понял, что негож, и ушел.

На речке, в двух верстах за садом, стояла мельница. У запруды водились в камнях раки. Там же ловили и нежных кроженок — форелей, красивых рыб с пятнистой чешуей.

Еще накануне Саша взяла с Сергея обещание отправиться с ним ловить раков или кроженок и говорил возбужденно:

— Наловим и покупаемся, чтобы не было жарко. У мельницы глыбоко, — ты меня плавать научишь. А Михайло-водовоз за водой с бочкой придет, нас домой сvezет. Вот и не придется идти по жаре.

— Ну что ты, Сашок, на бочку вдвоем, что ли? И так дойдем.

Собрались в поход, взяли ведро, взяли полотенца.

— Кроженка на червяка не идет, дядя Сережа, — деловито объяснял Саша, — мальчишки в Петровском рассказывали. Ее, как раков, руками ловят. Я и червей не накопал.

Вдумчивая деловитость была для Саши характерна. И делал он все не спеша, солидно, не так, как непоседа Вася.

— Да ведь и удочек не взяли, — подтвердил художник.

Он всегда разговаривал с Сашей серьезно, как с равным, и это нравилось мальчику.

Пошли к реке и недалеко от берега остановились. Сергей не мог оторвать глаз от великолепной картины. Река вся сверкала, искрилась, особенно ярко на перекатах, там, где она омывала камни. Камней было много. Рядом со светлыми местами на воде темнели провалы глубин и омутов.

— Под самым краем рачьи норы, дядя Сережа.

— Ладно, Сашок, мы их оттуда, усатых, вытянем!

— А вы сегодня веселый, дядя Сережа.

— Я всегда веселый, когда с тобой. Притом же солнышко вон как светит радостно!

Сергей с любовью глядел на мальчика. Саша поймал его взгляд и улыбнулся.

— И мне всегда с вами весело, дядя Сережа!

— Ну и хорошо!

Из-за ветвей прибрежной ольхи сквозили очертания приземистой мельницы. С маленького полуострова на другой берег перекинулась плотина. Вода сердито шумела, с трудом просачиваясь через нее, и, падая широким каскадом, пенилась. По берегу разросся папоротник. Омытый брызгами, он был ярко-зеленым на желтом фоне глины. Выше, на пригорке, алели ягоды земляники.

— А за плотиной, дядя Сережа, речка-то, будто сок от моршкового варенья, желтая-желтая, густа-ая, смотрите...

— Верно, Сашок! Ты этот цвет запомни и непременно нарисуй, как вернешься домой. А вон и мельник.

Во дворе мельницы рядом с белым от муки человеком возились мужики. Они взваливали на спину мешки с зерном и тащили их в низкую дверцу возле колеса.

Саша, только что скинувший с себя рубашку и штанишки, приветливо крикнул им:

— Здравствуй, дедушка Савва! Здравствуй, Кузьмич!

Мужики знали «барчонка» и любили, как любили когда-то его мать.

— Раков ловить пришел, баловник? — услышал он в ответ ласковые голоса. — Гляди не сорвись с берега. О камни ноги спортишь.

— Не сорвусь! — отвечал весело Саша. — Да я не один, со мной дядя Сережа!

— Здравствуй, Васильич, — здоровались крестьяне. — Купайся и ты, вода нонче теплая.

— И то думаю! Больно жарко становится.

Сергей давно не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Кругом было солнце, воздух, вода — все простое, ясное, любимое с первых дней жизни. Рядом его маленький друг, будущий художник, творец. Тот, через кого он поведает наконец людям свои заветные, невысказанные до сих пор мысли, покажет не созданные еще образы...

А сейчас этот будущий «творец» пробует ловить глазастых зеленоватых раков. Они больно щиплют ему пальцы. Но он не кричит, а только сосредоточенно дует на руку. Ведерко уже наполняется копошащимися клешнями, усами и толстыми панцирями. Крошечек не попало пока ни одной.

— Их мудрено ловить, — говорит Саша, невольно подражая манере взрослых крестьян. — На деревне старики сказывали: кому какое счастье на них.

Он не спеша отер тыльной стороной руки струившийся со лба пот.

— Не пора ли домой, Саша?

— Сейчас, дядя Сережа. Вот искупаемся и пойдем.

— Ты и так весь мокрый, — смеялся художник.

Мальчик, хохоча, скользнул в речку и забурился в ней руками.

— Глядите, дядя Сережа, у меня своя мельница!

К берегу с грохотом подъезжал водовоз Михайло с бочкой. Саша увидел его сквозь мокрые пряди волос, щурясь от капель воды, и закричал:

— Дядя Михайло, смотри, как я нырну глыбко-глыбко!

Черная ведром воду, Михайло смотрел, как Саша «нырял» на мелком месте. Голова мальчика пряталась в реке, зато половина тела выставлялась наружу.

— Вот молодец! Страшно небось?

— Не-е! — едва выговаривал Саша в промежутках между «нырянием». Сергей любовался сильным мальчиком и думал:

«Я счастлив, — мне есть для кого жить».

А Саша кричал:

— Слышишь, дядя Сережа, папенька скачет!.. Он давеча говорил, что придет сюда на Выюге. Слышишь, копыта цокают!

Сергей оглянулся. По лесной опушке скакал Елагин. Сдержав лошадь, он бросил повод на руки Михайле и по-кавалерийски лихо спрыгнул с седла. Улыбаясь, он посмотрел, как его мальчик барахтается в воде. И мысли его сошлись с мыслями Сергея:

«Жизнь моя кончена. Сам я загубил ее, по собственной глупости. А Сашка вот растет, крепнет. Из него и из другого малыша надо сделать настоящих людей».

Елагин снова улыбнулся.

Вдруг глаза его широко раскрылись от ужаса. Он увидел, как, поскользнувшись на высоком мокром камне, Саша полетел в водоворот плотины и там его начало крутить и бросать из стороны в сторону.

Бледный как мертвец, Елагин бросился к реке. Неужели потерять и сына? Но, прежде чем он добежал до воды, чье-то тело метнулось вслед за ребенком.

Вода бурлила, клочотала, унося мальчика. В брызгах ничего нельзя было рассмотреть. Но вот на поверхности показалась маленькая нога, потом другая, показались и снова исчезли.

Водоворот не подпускал Сергея. Несколько раз он приближался к маленькому телу, но оно неизменно исчезало вновь. Наконец Сергею удалось схватить мальчика за волосы. Стала мешать больная спина, — он чувствовал, что слабеет, что не выплывет... Подхватив Сашу, он из последних сил выбросил его на мелкое место. От резкого движения что-то хрустнуло у него между лопатками, и он потерял сознание... Бурлящая, пенящаяся вода понесла его и втянула в крутящийся водоворот.

...Саша лежал на земле. Вокруг столпились люди, растирали его, качали — приводили в чувство. Открыв наконец глаза, мальчик увидел отца, протянул к нему руки, заплакал и спросил:

— А... дядя Се-режа?..

Все вспомнили о художнике. Бросились к плотине, долго искали в водовороте, шарили багром по дну, меж камней. Потом раздались громкие крики:

— Тащи! Тащи его!.. Да осторожно, голову-то... голову не повреди!..

Выловив наконец, положили неподвижное тело на берег, недалеко от Саши.

Смутно, как в полусне, Саша видел обнаженное тело; его зачем-то встряхивали, а оно оставалось по-прежнему недвижимым. Лицо было неузнаваемо: все в синяках и кровоподтеках.

Потом Сашу положили на телегу, опростав ее от мешков с зерном, и повезли домой. Он то и дело впадал в забытие. Один раз по дороге очнулся и спросил едва слышно:

— Дядя... Сережа... где?..

Дядя Сережа лежал закрытый до бровей. Только лоб с знакомым завитком черных седеющих волос говорил, что это Сергей Поляков.

Здесь, в зале, лежала когда-то и мать Саши. В голове у нее тоже чадил толстая восковая свеча. Но у Прасковьи Даниловны лицо было открыто, оно точно улыбалось. Саша поднялся на цыпочки и, как тогда, припал губами к кисее в том месте, где находились руки. И, как тогда, заплакал.

Елагин шепнул ему на ухо:

— Помни, Саша, дядя Сережа погиб за тебя. Он тебя спас...

И хотел досказать: «И успел указать для тебя дорогу».

Но, не сказав, быстро отвернулся.

Приехал урядник и «для порядка» спросил документы покойного. Елагин отдал паспорт рыбака Кренделькова.



...Все, что рассказано в этом романе, было давно. Многие из героев книги жили на самом деле. Старые бумаги донесли до нас историю крепостного художника Сергея Полякова и его товарища, Михаила Тихонова, сошедшего с ума во время путешествия в Тихий океан. Описание путешествия Головнина на шлюпе «Камчатка» было издано в двух томах. Рисунки Михаила Тихонова — специальным альбомом.

По документам архива, академик И. В. Лучанинов действительно взял на себя попечение о несчастном, душевнобольном друге. На его руках Тихонов и скончался после долгих лет страданий.

За прекрасно выполненные во время экспедиции рисунки Тихонову назначили пожизненную пенсию «по шестисот рублей ежегодно». На его счете образовалась значительная сумма, которая частично расходовалась на его содержание. После смерти художника на оставшиеся деньги была учреждена в академии особая медаль его имени за выдающиеся ученические работы.

Кисти знаменитого художника В. А. Тропинина принадлежит лучший портрет Пушкина. Именем Карла Брюллова гордится русская живопись. Медальер Ф. П. Толстой, один из передовых людей своего времени, связанный дружескими узами с декабристами, и гравер Ф. Иордан высоко чтятся как на родине, так и за границей.

Вышедший из низов художник Ступин, о котором в романе упоминается только вскользь, добился своего. Он организовал в городе Арзамасе первую художественную школу. В ней училось немало крепостных, получивших впоследствии известность. В школе Ступина начал свое художественное образование и знаменитый Перов.

В архивах академии хранятся также имена баталиста Павла Александрова и Хлобыстаева. Хлобыстаев в конце концов сумел выкупиться и получил звание художника. А Пустовойтова, вероятно, захлестнула нелегкая жизнь. Он разменялся на дешевые трафаретные картинки, и фамилия его канула в вечность. Жила когда-то и няня Толстых — Ефремовна, вырастившая и поддерживавшая прославленного медальера в его юности.

«Стихотворец» Сибиряков — лицо не выдуманное. Не выдуманы и не-

которые другие персонажи, о которых рассказывал Сергею Полякову Егорыч, как и сам он — крепостной столяр, актер и музыкант одновременно.

Все эти бесправные, чаще безымянные крепостные: архитектор графа Орлова, высеченный публично, и композитор князя Волконского, написавший на сюжет Хераскова известную оперу «Милена», и «фис», всю жизнь тянувший одну только ноту в роговом оркестре Нарышкина и кончивший горловой чахоткой, — все они когда-то жили, страдали и боролись, стараясь, каждый по-своему, расправить и освободить от цепей скованные крылья природного таланта.

Судьба Саши, сына помещика Елагина, сложилась трудно, из него вышел художник, известный иллюстратор «Мертвых душ» — Агин. Он был создателем многих ярчайших образов. Они до сих пор служат руководством для режиссеров и актеров, изображающих бессмертные гоголевские типы.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

1. В старой академии	3
2. «Посторонний»	8
3. «Розовый» дом	11
4. К красоте и правде	22
5. В академии перемены	30
6. «На натуре»	37
7. В Петровском	44
8. Гром грянул	51
9. В неведомые края	59

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

1. Господа	66
2. Свой собственный Рафаэль	75
3. Деревенский «вояж»	81
4. Шах и мат	87
5. Холоп	92
6. Их власть	96
7. «Камчатка» вернулась	105
8. Через край	110
9. Машенька	114

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

1. Куда идти?	120
2. На гребне волны	125
3. Осень	132
4. Государственный винт	135
5. Торная дорога	141
6. Еще попытка	148
7. Добытки воли	155
8. К старым берегам	164
9. Не сам, так другой	168
10. Мельница	175

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Рисунки И. Астапова

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ал. Алтаев

ПАСЫНКИ АКАДЕМИИ

Ответственный редактор С. М. Пономарева.
Художественный редактор А. В. Пасина.
Технический редактор Р. И. Прозоровская.
Корректора Л. И. Басенко и М. Б. Шварц.
Сдано в набор 30/VI 1961 г. Формат 70 × 90^{1/16} —
11,5 печ. л. 13,46 усл. л. (13,08 уч.-изд. л.).
Тираж 30 000 экз. А09742. Цена 49 коп.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза.
Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 1078.

